ISSN 0131—0097
НОЯБРЬ № 47 1991
THE WEEKLY MAGAZINE
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

ОГОНЁК

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ОГОНЁК

Выходит с 1 апреля 1923 года
УЧРЕДИТЕЛЬ —
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ОГОНЕК»

№ 47 (3357)
16 — 23 ноября

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:
Д. Лихачев. Фото Льва ШЕРСТЕННИКОВА.

Оформление Е. М. КАЗАКОВА
при участии О. И. КОЗАК.

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ.
Цена подписки на год — 46 руб. 80 коп.,
на полгода — 23 руб. 40 коп.,
на квартал — 11 руб. 70 коп.
Цена одного номера в розницу — 1 рубль.

Сдано в набор 25.10.91. Подписано к печати 12.11.91. Формат 70×108⅛. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,00. Усл. кр.-отт. 17,50. Уч.-изд. л. 12,05. Тираж 1 790 000 экз. Заказ № 1027. Цена 1 рубль.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-22-69; Отделы: Публицистики — 250-46-90; Литературы — 212-63-69 и искусства — 212-22-19; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Справки по рекламе — 212-12-00.

Телефакс (095) 943-00-70
Телетайп 112349 «Огонек»

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Типография издательства «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

СИМВОЛ ВЕРЫ

Дмитрий ГУБИН
Фото
Льва
ШЕРСТЕННИКОВА

Со смертью Сахарова академический спор между Москвой и Ленинградом разрешен в пользу последнего, который уже и Санкт-Петербург. Потому что почти из трехсот действительных членов Академии наук полубывшего СССР только два имени вошли в массовое сознание: Андрей Дмитриевич Сахаров, Дмитрий Сергеевич Лихачев.

И дело не в том, что остальные академики не заслуживают своего заслуженного звания или, не дай Бог, стригут купоны с пустоты. Просто, видимо, общественное сознание располагает своей квотой на запоминание стольких-то поэтов, стольких-то ученых, и пальцев одной руки достаточно.

В любви к Сахарову клянутся теперь все, не вспоминая, что всё, что в сторону от простых «да» и «нет»,— от лукавого. По отношению же к Лихачеву пока уместен вопрос из совхрестоматии: что он сделал, отчего ему такая почесть? Здесь пойдут провалы, поскольку общественное сознание и общественное знание отличаются друг от друга не только приставкой.

Общий тираж книг Лихачева (по каталогу петербургской Публички) — под три миллиона, так что теоретически каждый сотый у нас обладает личным

Лихачевым, образуя процент элиты. Однажды в Иванове в книжной «стекляшке» возле гаденького автовокзала пришлось видеть, как ручейком пробивает в кассе лихачевский трехтомник ивановская интеллигенция. (Чтобы не забыть: провинциальная и есть типичная советская интеллигенция: бедно одетая, передающая друг другу «на ночь» столичные журналы, боящаяся самоорганизоваться, в основе своей технократическая, довольствующаяся немногим, но бесконечно идеалистическая и абсолютно бескорыстная. В столицах перестройка слизнула таких людей первыми, швырнув в них деньгами, эмиграцией и другими современными перспективами, а до Иванова, Ярославля, Владимира очередь только доходит...) Боюсь, что из всех трех томов были прочитаны разве что «Заметки о русском», как сомневаюсь, что покупателями после школьного адаптированного варианта хоть раз было перечитано «Слово о полку...», с исследованием которого имя Лихачева ассоциируется так неразрывно, что об этом даже неудобно напоминать, как, скажем, о том, что само «Слово...» — благоуханный цветок на теле русской словесности. Удивительно, что неразрывность отмечалась и в ту пору, когда образованная публика читала в основном «Детей Арбата»...

Совершенно очевидно, что популярность Лихачева — не филологическая, поскольку она больше, чем популярность.

Академик Лихачев — символ советской интеллигенции периода ее распада. Для интеллигенции он идеален, как любой другой символ Великого Города,— так идеален Медный всадник или золотой Ангел, осеняющий Петербург крестом со 122-метровой высоты Петропавловского собора. И по этой причине обращение к биографии теряет смысл, она распадается на фрагменты, высвеченные вспышками исторических гроз. Так, скажем, символ допушкинской поэзии, Державин, застывает с рукой, благословляющей юного поэта. Но известное благословение все же не исчерпывает Державина, как не исчерпывает Лихачева, и соответственно не становится стержнем судьбы, любой ее эпизод, пусть даже такой жаркий по фактуре, как сталинские Соловки. (У множества других людей тема пережитого лагерного кошмара осталась единственной. Это тема одного инструмента, и было бы безнравственно даже косвенно пенять на это, как бессмысленно винить скрипку в том, что она не

гобой. Да, но в таком случае Лихачев — человек-оркестр. Классический, конечно.)

Если когда-нибудь школяров заставят писать на тему «Академик Лихачев как символ», план сочинения на доске будет выглядеть так:

1. Академические знания.
2. Личное достоинство.
3. Интеллигентность поведения,— так сказать, образ старика Болконского.

Но при всей внешней банальности это уже почти потустороннее сочетание ушедшего века завораживает, как вид прабабкиных любовных писем, обнаруженных в коробке на антресолях. У нас все три компонента обычно выдергиваются порознь, создавая на усеченной основе новые, младые, незнакомые слои. Дергателей можно понять. Человек, взращенный на детских прогулках возле не работающего навсегда фонтана в ивановском ПКиО имени Степанова, навсегда преисполняется благодарностью к человеку, написавшему «Поэзию садов», просто за то, что он ее написал. И «медлительность русской возвышенной речи» греет даже тогда, когда ушли описываемая этой речью жизнь и сама речь...

...Пол-лета я искал встречи с Лихачевым, чтобы спросить, что должен чувствовать человек, наблюдающий уход и распад своего слоя. И не давит ли теперь уже неизбежная обреченность на положительную роль; может быть, это неуютно — быть положительным? И что он думает о солженицынском делении людей на правдолюбцев, правдознатцев и праведников, и можно ли только по своей воле перейти из класса в класс? Здесь мог случиться разговор о христианстве, о Боге, о сомнении. Но телефон в квартире молчал, как молчал по присутственным для академика Лихачева понедельникам и средам Пушкинский дом, и сменен был старый номер на даче, и Ленинград в августе окутала жара. И когда пришли первые дожди, я увидел Лихачева на Дворцовой площади, но вопросы задавать было глупо, и сейчас станет ясно почему. Интервью тогда давалось всеми на одну тему, и я прокручиваю запись.

«Мне не нужно вас в чем-либо агитировать. Я хочу только сказать: не поддавайтесь на лицемерие. На лицемерие так называемых «руководителей», руководителей неизвестно чего, в Конституции нет такого понятия. Это руководители заговора... Если они утверждают, что действуют конституционно, почему нет письменного или устного заявления Горбачева о своей отставке? Если он настолько болен, что не может произнести слово или поставить свою подпись, то не означает ли это, что мы возродили режим психушек?..»

Было 20 августа, и на Дворцовой площади колыхалось море в сто тысяч ленинградцев, которым через две недели предстояло стать санктпетербуржцами, и голос, записанный редакционным диктофоном, был первым голосом того митинга и того дня. Я тянул руку с диктофоном в сторону динамиков трибуны и клял себя за вчерашнюю слабость. Накануне, обзванивая самых заметных в Ленинграде людей, я спрашивал единственное: «Ваше отношение к ...», сам будучи убежден в неизбежности печального, увы, финала, отчего вопрос звучал почти провокационно, пусть даже положение заметного человека и заставляет относиться к провокации, как к вопросу. Но Лихачева я разыскивать не стал: мне казалось, что не следует 84-летнего академика, помогавшего людям без стремления к славе политподписанта, искушать публичным выбором. В конце концов заслужил он право на то, чтобы в этот день, говоря словами уже из другой хрестоматии, «чашу эту мимо пронесли»?

Простите, что усомнился, Дмитрий Сергеевич.

Санкт-Петербург.

ИЗ ПОЧТЫ ОДНОГО ДНЯ

Нужно немедленно перестать митинговать на голодный желудок, перестать быть игрушкой в руках безответственных неграмотных политиканов, использующих народный горб как ступеньку для достижения власти, даже ценой человеческих жизней. Необходимо начать по-настоящему работать, отбросить националистические амбиции и строить единый Союз Независимых Республик.

Г. БОРЦОВ
Харьков

Все чаще и чаще перед солдатами ВС СССР в мирное время встает вопрос: «Стрелять или не стрелять? Убивать или не убивать?» И нет четкой опоры для принятия решения. С одной стороны, совесть, с другой — страх: действующая военная присяга требует беспрекословного исполнения любого приказа, в том числе и преступного. Так неужели советское общество не в состоянии сформулировать четкие документы, не противоречащие совести?!

А. ЛЕОНОВ,
старший лейтенант запаса
Санкт-Петербург

Поспешным и бессмысленным шагом можно назвать отмену декретного часа в РСФСР. Это решение явно исходит не из пользы российских граждан, а из чисто идейных соображений — быть на одной ноге с Европой. Теперь начиная с октября люди возвращаются с работы затемно. Идея европеизации встала выше разумного отношения к действительности.

В. ТАРАСКИН
Санкт-Петербург

Введение свободных цен — шаг необходимый. Но при этом надо думать и о социальной защите малоимущих слоев населения. Бесплатная тарелка супа эту проблему не решит.

В. ШЕВЫРЕВ
Саратов

Слишком велик дефицит товаров на нашем рынке, чтобы мы могли разом отпустить цены. А ликвидировать этот пресловутый дефицит крайне сложно, так как остается диктат монополиста-производителя. Ему незачем заботиться о расширении производства, поскольку гораздо легче увеличить цены на продукцию.

Л. ШАХАЕВА
Москва

Не надо питать иллюзий по поводу помощи Запада. Это только нас расхолаживает и унижает. Я убежден: только самим, только повседневным тяжелым трудом можно добиться результатов.

С. ПОПОВ
Магадан

■

Казалось бы, что может быть общего между зоной и военной казармой? Это общее — те неписаные законы, по которым живут люди и там, и тут. Появление уголовных традиций в армии отмечено давно. Была даже такая версия возникновения дедовщины. Мол, в пятидесятые годы в армию были призваны бывшие уголовные элементы. Они-де и принесли в наши стройные ряды эту заразу. Ряд традиций зоны процветает сегодня в армии. Основная заповедь — никого не бойся, никому не жалуйся, никому не верь — одинаково справедлива в обеих системах. Стукачество одинаково жестоко карается и в казарме, и на зоне. Казарменная иерархия копирует лагерную. Я никак не мог понять одного правила казарменных фраеров-стариков. «Старик» никогда не замарает рук грязной работой или «несолидным» поступком, вроде того: поди туда, принеси то. Единожды нарушивший закон мог больше не подняться с колен.

Так почему же уголовные традиции прижились в армии? Потому что и в зоне, и в армии есть угнетение человека человеком, потому что свобода человека ограничена жесткими рамками в крошечном пространстве, где он бесправен перед волей начальника.

Где ограничивается свобода человека, будь то лагерь или государство, там возникает зона. Где есть несвобода, там царствует ГУЛАГ.

К этому выводу я шел долгие годы офицерской службы. Я видел отчаявшихся что-либо изменить офицеров, видел спивающихся от тоски лейтенантов, видел людей, для которых имена Пастернака, Мандельштама, Булгакова, Ахматовой — пустой звук. И если за годы перестройки «на гражданке» что-то менялось, то армия оставалась наиболее консервативным органом государства. И только теперь, после августовских событий, появилась надежда.

Я не питаю иллюзий на предмет скорых перемен. Ныне на руководящих должностях и в среднем звене служат люди с укоренившимися привычками и образом мыслей. Это за день не поломаешь, если они вообще поддаются ломке.

Сейчас мы, бывшие политработники, ждем решения своей участи. И если вместо записи в моем личном деле — «замполит» — появится угроза записи «стартом» (старший помощник по воспитательной работе), то, боюсь, у меня не хватит решимости продолжать эту бессмысленную войну с солдатами. Я не хочу больше быть заложником этой системы, ломающей тела и души наших ребят. И я напишу рапорт с просьбой уволить меня из рядов Вооруженных Сил.

А. ПРОХОРЦЕВ,
майор
Семипалатинская обл.

■

В организацию «Международная амнистия» обратился... полковник В. Алкснис. Тот самый, что в дни путча спокойно рассуждал перед телекамерой о возможных арестах демократов. А сейчас он выражает сомнение в законности ареста А. Рубикса, также поддержавшего заговорщиков. И беспокоится о том, что «сегодня в СССР снова предпринимаются попытки развернуть широкомасштабную «охоту на ведьм»...

Все-таки способность партийной номенклатуры к мимикрии не знает предела! Они не вспоминали об «охоте на ведьм», когда травили А. Сахарова, называя его агентом ЦРУ, когда обливали грязью А. Солженицына, называя его литературным власовцем. И о демократии не вспоминали, когда арестовывали диссидентов, и о свободе слова не помнили, когда арестовывали книги и людей — за книги. А о «Международной амнистии» писали не иначе как о подрывной антисоветской организации, защищающей только уголовных преступников и убийц.

Партаппаратчики от КПСС впервые завопили об опасности для демократии сразу же после указа Б. Ельцина о департизации. А после провала путча поднялся не менее дружный вой по поводу «ведьм». Однако, если приглядеться внимательно, становится ясно — плач по нарушаемой демократии поднимают в основном те, кто в дни переворота или поддержал заговорщиков, или занял выжидательную позицию.

На что рассчитывают партаппаратчики? Ход их рассуждений примерно таков: после смерти Сталина наказали только высших чинов НКВД, рядовых исполнителей не тронули. А из тех, кто «шил дела» диссидентам, вообще никого не отдали под суд, так же как и виновников трагедий в Тбилиси и в Вильнюсе. Так за что же судить их, нынешних сторонников тоталитаризма? Вроде и не за что, коль нет юридического прецедента...

Я не удивлюсь, если через несколько лет нынешние пособники путчистов будут рассказывать пионерам, как они мужественно боролись за идеалы демократии в августе 1991 года... Если, конечно, сегодня им удастся уйти от ответственности.

Нет, я не жажду «крови». Но принцип неотвратимости наказания должен же наконец заработать. Поэтому считаю: суды на местах должны рассмотреть «дела» всех номенклатурных деятелей, которые печатно выступали в поддержку хунты. И нужны эти суды вовсе не для мести, как это пытаются представить партаппаратчики, а для предотвращения попыток новых переворотов.

...А меры наказания пособникам путчистов могут быть и минимальными, даже символическими. В УК РСФСР это общественное порицание. Но обязательно — с опубликованием в печати! Дабы, опираясь не на эмоции, а на букву Закона, назвать поименно всех, кто посмел посягнуть на демократический выбор народов России.

В. ЛЫЧКОВСКИЙ
Сыктывкар

■

При сегодняшнем убогом существовании и радости наши стали какими-то убогими. В магазине внезапно «выбросили» колбасу, и ты оказался «в первых рядах», продавщица крикнула, чтобы «не выбивали творог», но ты уже схватил; в поликлинике неожиданно скоро приняли и так далее. Даже быстро подошедший и сравнительно свободный автобус может улучшить настроение. А иногда тебе даже завидуют. «У вас хоть что-то можно купить, у нас вообще ничего нет» — разве не при-

ходилось слышать подобные речи? А недавно, пожаловавшись, что пришлось простоять два часа за сахаром, вдруг услышал: «А шесть часов не хотите!»

Центральное телевидение показывает нам супермаркет в Америке, в котором восемнадцать тысяч наименований продовольственных товаров, рассказывает, что во Франции свыше 500 сортов сыра, в Германии более 1000 сортов колбасы, в Бельгии около 300 марок пива и так далее. Ничего этого у нас никогда не было и не будет. Да, наверное, и не нужно. Просто хотелось бы элементарной нормальной жизни, которую сулят нам уже многие годы.

В. ЗАХАРОВ,
ветеран войны и труда
Москва

■

Последние публикации в прессе по поводу августовских событий в Москве заставили меня взяться за перо.

Ну, сколько можно любоваться собой, говорить о том, какие мы герои, как мужественно отстояли демократию и как при этом было страшно. Душа жаждет подвига, психологически это вполне понятно: столько лет наблюдали «равнинное течение жизни», а тут такая встряска. Но надо же и честь знать! Сейчас о защите «Белого дома» пишут чуть ли не как об обороне Москвы 1941 года.

Понимаю, какую обиду вызвали бы мои слова у многих москвичей: легко быть храбрым задним числом и за чужой счет. Однако я никогда бы не написала их, если бы тогда меня там не было.

Три августовских дня, проведенных в Москве, остались в памяти как самые счастливые дни моей жизни, я помню их едва ли не по минутам и провела их не в квартире у радиоприемника. Именно потому и беру на себя моральную ответственность за все, что сказала и скажу. Мне жаль тех, кто испугался. Семьдесят четыре года только страх и делал нас рабами государства, большевистской морали, собственной закомплексованности. «Неисповедимы дороги зла, но не надо, люди, бояться»,— сказано А. Галичем двадцать лет назад. К счастью, многие успели понять эту истину до тех памятных событий. Утром 19 августа колонна боевой техники на улице Горького остановилась в двух метрах от нас — горстки людей, загородившей дорогу. Страшно не было. Впрочем, я лишилась страха задолго до этого, растеряла его на митингах, демонстрациях и в пикетах, да и просто в домашних и уличных спорах. Страх надоедает и утомляет. Именно поэтому, должно быть, и у москвичей, встречавшихся мне, я не видела подавленных и испуганных лиц.

Сейчас, однако, мне слегка досадно за эйфорию и совершенно искреннее чувство душевного подъема, владевшие мною все три дня. Много ли стоит эта моя — наша — смелость? «Выйти на площадь», когда с тобой идут тысячи, пусть даже сотни, не Бог весть какой подвиг. Выйти на площадь с горсткой смельчаков, зная, что тебя тут же скрутят, как вышли в 1968 году «диссиденты», протестовавшие против интервенции в Чехословакии,— поступок иного рода. Не уверена, что многие и сейчас на это способны. Хватит хвалить себя. Мы этого еще не заслужили. Да, моральное значение победы невозможно переоценить.

Но... не было массового героизма. Не было народного гнева, который смел диктатуру. Не было борьбы не на жизнь, а на смерть (и очень хорошо). Были спокойная решимость, солидарность и чувство собственного достоинства. Однако все чаще в последнее время мне вспоминаются слова Булата Окуджавы: «А все-таки жаль — иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед». Давайте сойдем с пьедесталов.

Н. ВАСИЛЬЕВА
Барнаул

В журнале «Огонек» (№ 38 за 1991 г.) была опубликована статья В. Костикова, доказывавшего необходимость советского «Нюрнберга», то есть суда над большевистско-коммунистической идеологией. Без покаяния и суда выбраться из экономической и нравственной пропасти мы вряд ли сумеем.

Здесь, как говорится, спору нет. Однако автор, совершенно справедливо говоря об «идеологическом психозе», не учитывает, что этому психозу подвержены мы все. Как иначе можно объяснить следующий пассаж автора: «Единственным реальным историческим событием советского периода была великая война, но к ней большевики не имеют никакого отношения». Это значит впасть из одной крайности в другую. Ибо по меньшей мере неразумно отрицать положительную роль рядовых коммунистов в победе над жестоким врагом. Но главное ведь не в этом, главное в том, что это была война за мировое господство между красным и коричневым фашизмом, между двумя тоталитарными режимами, между Сталиным и Гитлером.

В конце кровавого XX века нам всем необходимо понять, что в начале века фашизм возник не случайно и не вследствие «общего кризиса капитализма», а как противовес коммунизму, призрак которого начал материализовываться в Европе. Поставив своей целью борьбу с этим учением, фашисты взяли на вооружение его варварские методы. Такое часто бывает в истории, ведь и революции можно считать варварской борьбой против варварства.

Фашистские идеи и фашистские преступления являются продолжением коммунистических идей и коммунистических преступлений. Общим для двух тоталитарных систем является полное отрицание общечеловеческой морали. Ленинское «мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем» предшествовало гитлеровскому «я освобождаю вас от химеры, называемой совестью».

Масштабное средство борьбы с инакомыслием — концлагеря — было создано в стране Советов в 1918 году, то есть задолго до гитлеровских печально знаменитых лагерей. Леденящие кровь массовые расстрелы классово неполноценных священников, буржуев, офицеров, интеллигентов, убийства невинных заложников, душегубки; как результат, растление целого народа — все это фашизм позаимствовал у своего старшего собрата — коммунизма. Развитие этих «достижений» фашистами состояло лишь в том, что они применили варварские методы не только на своей, но и на чужой территории.

Поэтому никак нельзя согласиться с формулировкой автора статьи: «Большевизм наряду с национал-социализмом был попыткой интеллектуального оформления зла». Не наряду, а впереди и в качестве образца для национал-социализма. Но автор прав в основном: необходим суд над коммунистической идеологией, которая продолжает отравлять сознание миллионов людей.

Л. КОЗОРЕЗ,
доцент
Рубежное,
Луганская область

■

В № 40 «Огонька» бывший партаппаратчик В. Г-ов задается вопросом: «Кому я и мне подобные теперь нужны?»

А никому. И не только теперь, никогда народу были не нужны такие нахлебники.

За свою почти 50-летнюю жизнь этот «товарищ» не научился никакому полезному делу. Поэтому теперь собрался в рэкетиры. Идти в истопники для него зазорно, к тому же ему непременно надо жить в Москве и «руководить».

А, наверное, не так давно призывал возрождать российскую деревню? Хотелось бы дать ему совет. Поезжай-ка, мил-человек, куда-нибудь в село, купи коровку, заведи овечек, курочек. Научись с ними управляться. Вырасти за свою жизнь хотя бы одного поросенка. Покоси сено литовкой. И не нужно будет идти в разбойники.

А организаторские таланты и деловые навыки его и подобных ему завели всех нас дальше некуда.

М. ОТРОЩЕНКО,
пенсионерка-крестьянка
с. Рыбное Алтайского края

■

Сейчас много говорят и пишут о помощи Советскому Союзу.

Вот уже два года, как я отправляю посылки друзьям в Советский Союз, с которыми я познакомилась во время своих пребываний в Москве. Но эти посылки находились по 4—6 месяцев в дороге. И продукты, находящиеся в них, конечно, портились. Помощь, которая оказывается по частной инициативе, казалось бы, должна реализовываться быстро. Я искала такой путь и нашла его. Теперь через 5—6 дней они доставляются в Москву. Но тут опять проблема. При получении люди должны простоять на таможне в аэропорту Шереметьево по 6—9 часов, пока им не выдадут посылки, в которых всего лишь продукты и вещи самой первой необходимости. Почему? В пакетах все переворачивают, многое вынимают — и все это делается до того, как посылка попадет в руки адресату. И самое страшное — устанавливается высокая пошлина, которая не каждому по плечу.

Нельзя ли помочь этим людям? Мне кажется, что посылки, посланные в благотворительных целях, должны быть бесплатными.

Я была в августе 1991 года в Москве. Была с москвичами у «Белого дома». Мое восхищение вашим народом так велико, что я и многие другие мои сограждане хотим хоть как-то облегчить повседневную жизнь своим друзьям в Союзе, но ни в коем случае не желаем доставить дополнительные заботы и расходы.

Мне так хотелось бы достучаться до сердец, особенно тех, которые отвечают за эти порядки.

Эдит ПОКОРНЫ
Мюнхен

■

Пишет вам учитель из далекого сибирского села Курейка, что находится в таежной глуши. Деревня Курейка в настоящее время ничем не примечательна, но в недалеком прошлом она была известна тем, что в ней отбывал ссылку человек, много лет возглавлявший наше государство, Иосиф Джугашвили (Сталин). В двух километрах от центра Курейки был в 1952 году построен политкаторжанами музей Сталина (пантеон), который закрыли в 1961 году. В настоящее время это дорогостоящее здание, облицованное мрамором, почти разрушено; скульптуру Сталина сбросили в Енисей. А в пустом здании с разбитыми витражами метет пурга.

Мне не жаль, что имя этого человека предано забвению. Мне жаль того труда, который был затрачен сотнями умельцев-политзаключенных для возведения никому не нужного здания, жаль тех стройматериалов, которые были доставлены сюда за тысячи километров, жаль тех политзеков, попавших сюда по вине того же Сталина. Все это наша история, из нее ничего нельзя выкинуть, как бы этого некоторым ни хотелось. Считаю, что надо сохранять все памятники, исторические места, связанные с различными деятелями. В Курейке этот пантеон останется печальным напоминанием того жестокого времени.

А. ПОПОВ
п. Курейка Красноярского края

СОЛЖЕНИЦЫН?

Рисунок Левона ХАЧАТРЯНА

КОТОРЫЙ?

Вячеслав ВОЗДВИЖЕНСКИЙ

Уже, кажется, ясно, что как предстоятель России, ее жизнеучитель и духовный вождь Солженицын, слава Богу, не состоялся. Именно в жизнеучителя нам его прочили, но именно жизнеучителей России и не надо, именно от них она достаточно натерпелась. И одновременно это не умаляет всего, что навечно внес Солженицын в отечественную литературу и духовную жизнь. Может быть, поэтому многие еще продолжают культивировать молитвенное отношение к нему. Но возобладать должно все-таки трезвое понимание места и значения Солженицына в нашей культуре и духовной истории, трезвый анализ его текстов в контексте отечественной реальности.

Очевидно, к такому анализу стремилась побудить нас «Литературная газета», предложив писателям и критикам анкету о художественных особенностях творчества Солженицына под несколько патетическим названием «Год Солженицына» («ЛГ», 1991, №№ 8—28). Знаменательно, что вторым пунктом этой анкеты предлагалось оценить бытующую «в эмигрантской среде шутку о том, что Александров Исаевичей — двое...». Редакция «ЛГ» сочла нужным затем оправдываться перед Солженицыным за такую формулировку вопроса, а между тем она была вовсе не случайной. Равно как и Русское зарубежье, в отличие от нас имевшее возможность читать тексты Солженицына из года в год, последовательно и без изъятий, тоже не случайно сочинило эту шутку. Она имела, кстати сказать, совсем уж непочтительную форму анекдота о том, что при высылке Солженицына из страны КГБ подменил его: настоящего автора «Одного дня Ивана Денисовича» и «Архипелага ГУЛАГ» тайком оставили у себя, а в самолет посадили двойника. Вот он и в ответе за все, творимое Солженицыным за рубежом,— за воинствующую нетерпимость его выступлений и их запоздалое, заемное почвенничество, за неудобочитаемое «повествование в отмеренных сроках» и прочее. Конечно, от этой байки можно отмахнуться как от шутки не самого лучшего тона (что многие и проделали на страницах «ЛГ» в ответах на ее анкету). Но не отмахнуться от той нешуточной правды, которая в шутке отразилась: как бы ни старались иные авторы дезавуировать самую постановку вопроса об этом, образ Солженицына действительно двоится.

Солженицын-художник становится все больше известен в стране. Кажется, не осталось его произведений, не опубликованных в СССР. Но есть еще Солженицын-идеолог. Он стране гораздо менее известен. Он сам засекретил себя от соотечественников, наложив жесткое ограничение на перепечатку своей публицистики в Советском Союзе. Солженицын-художник — явление большое, многомерное. Резкий след, впечатанный им в историю страны и ее культуру, не изгладится никогда. Солженицын-идеолог, наоборот,— явление вполне элементарное, односложное. Ничего нового он не вносит в отечественную культуру и отечественную мысль.

Конечно, такое расчленение условно. Идеолог и писатель в Солженицыне неотделимы, существуют один в другом. И тем не менее тот Солженицын, каким он вошел в наше сознание и нашу действительность в шестидесятые годы, и тот, каким он обернулся позднее, еще в стране и тем более в зарубежном изгнании,— это в самом деле как бы два разных Солженицына.

Нет нужды лишний раз повторять, в чем значение и той прозы, которой Солженицын поразил страну и мир, и самого феномена его личности, его вызова режиму, истории, социальной судьбе страны. После «Одного дня...» и «Архипелага ГУЛАГ» русское общество и русская мысль уже не остались теми же, что раньше: явленный пример менял отношение к творчеству, к тому, что может и, значит, **должна** литература. Люди увидели, что можно словом

противостоять режиму и не уступать ему. Слово становилось делом.

Притом это был именно художнический вызов действительности. «Один день Ивана Денисовича» воздействовал не только своим содержанием. До сих пор поражает редкая художественная цельность, высокая художественная плотность изображения: повествовательная, образная, психологическая. Сила этого изобразительного лаконизма и дала возможность в одном дне Ивана Шухова сконцентрировать, вместить трагическую судьбу и одновременно внутреннюю стойкость целой страны, целой нации, лишенных свободы и человеческого достоинства, но находящих в себе силы выжить вопреки государственному террору, насилию, бесчеловечности. «Один день Ивана Денисовича», безусловно, принадлежит к числу вершин русской прозы XX века.

Почти то же можно сказать и о «Матренином дворе». Иван Денисович Шухов и Матрена Васильевна Захарова стали сигналом, знаком для подраставшей плеяды «деревенских» прозаиков.

О первых романах Солженицына этого не скажешь. Именно художественной плотности, художественной незаурядности им недостает. Конечно, в общем ряду прозы тех десятилетий они выделяются своим содержанием, точнее, своим материалом — местом действия и тематикой наполняющих их речей героев. Но художественный метод (понятие, ныне дискредитированное, но не потерявшее от того смысла) Солженицына остается здесь тем же, что и в одновременных романах К. Федина, А. Бека, В. Дудинцева, Д. Гранина, В. Пановой, Ю. Германа и других,— методом социального реализма.

Не исключено, что художественному дару Солженицына органична, природна именно средняя жанровая форма — повести и историко-публицистического очерка. Именно в ней его художественные, изобразительные возможности предстают во всей полноте, с наибольшей силой. Это относится и к «Архипелагу ГУЛАГ». Его вполне можно рассмотреть как собрание очерков, внутренне связанных общностью замысла и структурно сросшихся. Более того, даже из «узлов» действительно неудобочитаемого «Красного колеса» можно вычленить ряд внутренне целостных и самих по себе отлично написанных очерков. Таковы, скажем, главы не только о Ленине, но и об адмирале Колчаке в «Узле третьем».

«Архипелаг ГУЛАГ» — еще одна художественная вершина, именно художественный, художнический суд над действительностью. Он назван «художественным исследованием». Это определение широко используется в нашем литературном обиходе, однако в большинстве случаев оно, по-моему, просто лишено смысла. Тем не менее есть случаи, когда понятие художественного исследования вполне оправдано, ближе всего передавая суть дела. Именно таков случай «Архипелага ГУЛАГ».

Казалось бы, перед нами лишь изложение фактов, извлеченных автором из засекреченного прошлого и точно сгруппированных им. Но оно пронизано, одушевлено, окрашено огромной силой эмоционально-психологического напряжения и одновременно публицистической, гражданской страсти. «Архипелаг ГУЛАГ» — яростное и мощное выражение протеста человеческого сознания, человеческой совести против системы террора, насилия, лишения свободы. Это гнев и протест не от имени каких-либо слоев, сословий, социально-философских программ, не от имени какой-либо выделенной нации и даже не от имени народа (хотя сам Солженицын подчеркивал: «Я пишу за Россию безъязыкую», то есть в первую очередь все же о «низах», о народе, а не о тех, кто способен сам о себе рассказать. И тем не менее это протест не просто от имени низов). А именно от имени людей в целом, человечества, самой человечности. Все это сделало «Архипелаг ГУЛАГ» одной из величайших в мире книг XX века.

Так, выразительная сила слова, высокая художническая страсть придавали замыслам Солженицына их вес, объем и гулкое, на весь мир, звучание. Однако и обстоятельства, враждебные творчеству, и собственная натура проповедника-пророка все сильнее толкали Солженицына от художнического освоения действительности к прямому идеологическому, публицистическому высказыванию. С конца 60-х и на всем протяжении 70-х годов сперва в Самиздате, затем на Западе, в зарубежной печати были опубликованы его публицистические выступления, попытки историософских обобщений. И стали все отчетливее проступать черты «другого» Солженицына.

Писатель провозгласил в самиздатовских статьях программу личного — нравственного и идеологического — неповиновения неправой власти («На возврате дыхания и сознания», «Жить не по лжи» и др.). Но тут же рядом, заслоняя, оттесняя ее, все настойчивее заявляла о себе та **ретроутопия,** которая составит ядро его идеологии, его проповеди. И одновременно уже в Самиздате начался спор с иными, демократическими программами будущего страны, с самой либеральной и радикальной традицией. Он окреп в зарубежных выступлениях Солженицына после изгнания на Запад.

Конечно, этот «новый» Солженицын и его идеологемы возникли не вдруг и не в самих этих статьях и интервью. Он дожидался своего часа в недрах творческой личности писателя и теперь лишь вышел на поверхность.

В Цюрихе вскоре после высылки из СССР Солженицыным была написана книга «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни». Это автобиографическое, почти исповедальное и одновременно полемическое сочинение. Отечественные читатели смогут его прочесть в доработанном виде в номерах «Нового мира» за 1991 г. Солженицын рассказывает о своей литературной судьбе, какой она складывалась в столкновении с советским режимом. И одновременно он пытается дать картину литературной и общественно-политической ситуации 60-х — начала 70-х годов, какою она ему рисовалась. Хотя к этому времени уже были написаны такие принципиальные для Солженицына статьи, как «На возврате дыхания и сознания», «Письмо вождям Советского Союза», «Образованщина», а по европейским столицам уже прошли его пресс-конференции и интервью, мне кажется, именно «Теленок» (так сам Солженицын не раз сокращенно именовал свою книгу) стал, так сказать, манифестом «нового», «другого» Солженицына, вехой в его движении.

Прежде чем говорить об этой книге, надо сказать следующее. Совершенно очевидны уникальность личности Солженицына, его социального и художнического поведения. Он в одиночку открыто восстал против тоталитарного режима и его литературной прислуги — и не уступил им ни разу ни в чем. Никому другому этого в те годы не было дано. Солженицын сознавал, конечно, эту свою исключительность. Однако из этого сознания проистекала убежденность именно в своей и только своей правоте. (Солженицын неоднократно заявлял обратное, заверял, что не считает себя носителем единственно верной верховной истины. Но пафос и логика его публичных выступлений не подтверждают этих словесных уверений.) Чем дальше, тем больше нарастала в его творчестве мощная страсть проповедничества. А с ней и уверенность в своем особом, пророческом положении, в своем даре и праве судить обо всех государственных, общественных, литературных делах, более того, о судьбах и обязанностях целой нации. И вместе со всем этим нарастала нетерпимость. Уже не только к власти и ее прислужникам, а ко всем тем, чей образ жизни и образ мысли не соответствует его, Солженицына, программе и проповеди, его представлениям о норме жизни и норме человеческого поведения.

Вот почему в его публицистике конца 60-х — начала 70-х годов рядом с блистательными обличениями режима и его слуг — такими, например, как Открытое письмо секретариату СП РСФСР от 12 ноября 1969 г., а это один из самых замечательных документов в истории русской общественной мысли, поразительный по лаконизму и силе звучащих в нем высоких гражданских и общечеловеческих эмоций,— рядом с такими шедеврами прочно заняли место выступления и инвективы, продиктованные как раз самоуверенностью и нетерпимостью пророка-проповедника. Такова «Образованщина», где Солженицын, справедливо заклеймив социальный эгоизм миллионного слоя наемных советских «кадров» с высшим образованием, одновременно отказывает современной русской интеллигенции и в праве носить это имя, и в самом существовании. Движение жизни давно выявило недальновидность и пристрастность этого солженицынского вердикта.

Все это и выразилось в особенностях солженицынского рассказа о себе. Книга «Бодался теленок с дубом» производит неизгладимо двойственное впечатление. Она одновременно и восхищает, и отталкивает.

Восхищает, ибо рисует образ художника, вступившего в неравную схватку с тоталитарной властью, понимавшего, на что он идет, и видевшего в этом свое предназначение, полного решимости выполнить свой долг. Мы узнаем из первых рук, как шла схватка, как вела Солженицына его решимость, как он отстаивал в своем лице права и достоинство русской литературы.

Однако именно в своем и только своем лице. И потому одновременно книга Солженицына отталкивает. Тем, что с тех же страниц встает еще один образ — образ человека, всецело замкнутого на себе, видящего все вокруг лишь через призму своих интересов и расчетов. Любое явление общественной и литературной жизни, любое живое лицо понимается и ценится им лишь постольку, поскольку отвечает его намерениям, помыслам и представлениям. Именно так истолкована автором «Теленка» вся история его отношений с А. Т. Твардовским и «Новым миром». Он пишет о них снисходительно, как бы глядя сверху вниз — словно убежден, что «Новый мир» Твардовского и существовал-то в 60-е годы лишь потому, что ему, Александру Солженицыну, предназначено было получить трибуну, выход в печать. Что у Твардовского, у «Нового мира» и его людей была собственная судьба, которая началась задолго до встречи с А. И. Солженицыным и не на ней закончилась, что у всех них были свои отношения с миром, обществом, литературой, свои представления о долге перед ними,— всего этого для автора «Теленка» как бы просто не существует.

И в этом смысле «Бодался теленок с дубом» — редкая по силе саморазоблачения книга. Ее автора словно бы раздирают две мании: мания величия и мания преследования. Со сладострастием он рассказывает, как таился, скрывал свои замыслы и результаты, с какими заячьими скидками уходил от предполагаемых преследователей. Но себе Солженицын все это прощает — осторожность, запутывание следов, уклончивость и недомолвки. Себе, но не другим. О том, как «Новому миру» приходилось делать свое дело с такою же осторожностью, скрывая замыслы, стараясь обойти острые углы, утаить шило в мешке,— об этом Солженицын пишет с пренебрежением и высокомерием, если не сказать — с презрением.

Конечно, все не так просто. «Новый мир» действительно считался с теми правилами, которые установили для литературы тоталитарный режим и его органы, ведающие художественным творчеством. Солженицын же их с самого начала не признавал. В этом его великое значение для отечественной культуры. Он первым показал, как можно — а стало быть, и нужно — не считаться с этими насильственными правилами, в упор их не видеть. Один на один с драконом истребительной идеологии он прямо в лицо ему объявил, что презирает его силу,— и дракон не сразу нашелся, чем ответить. «Новый мир» же всегда пытался — и не без успеха — этого дракона обойти, обмануть, усыпить его бдительность.

Так что у Солженицына были основания судить о «Новом мире» независимо и строго. Однако все-таки не свысока: перед русской литературой, перед отечественной историей, перед Богом они именно равны, и у Солженицына нет настоящих причин возноситься (если не сказать — заноситься) так, как это произошло в книге «Бодался теленок с дубом». Тут и то надо взять во внимание, что если бы «Новый мир» и Твардовский не считались с правилами игры, установленными властью для литературы,— не вышел бы в свет и «Один день Ивана Денисовича». И тогда неизвестно, состоялся бы вообще Александр Солженицын как писатель. Ибо когда человек не признает тоталитарных законов лишь наедине со своими рукописями и о том знает только он сам — это одно, а когда этих законов не признает писатель, в одночасье получивший известность едва ли не мировую, и отовсюду видным делается его несогласие с властью, делается уже не просто фактом его биографии, а фактом истории — это совершенно другое. Это стало тем импульсом к главному творчеству, который превратил отравленного лагерным опытом затворника в сознающего свое значение и свое назначение писателя. И импульсом этим Солженицын всецело обязан Твардовскому и его «Новому миру», перехитрившим дракона, обведшим его вокруг пальца.

Книга «Бодался теленок с дубом», на мой взгляд, засвидетельствовала, что страсть проповедничества, идеология в чистом виде стали доминировать в писательском сознании и самой творческой работе Солженицына. В обильной публицистике 60—70-х гг. эта страсть выразилась напрямую. Но самое, на мой взгляд, печальное для Солженицына и для русской литературы в том, что идеология теперь не просто проникла в его художественную прозу, но подчинила ее себе, окрасив собой эстетическую структуру, образную систему.

Нельзя не видеть движения художественного — именно художественного — творчества Солженицына по нисходящей: от литой, упругой, дышащей живым словом прозы «Одного дня Ивана Денисовича» и «Матренина двора» к тяжеловесному и маловыразительному повествованию в восьми томах «Красного колеса». Разумеется, у «узлов» «Красного колеса» есть и будут почитатели. Произведений словесности без поклонников и почитателей не бывает. Тем естественнее они у автора, предъявившего читателю огромный объем весьма мало известных прежде фактов, документов, биографий и имевшего загодя тот авторитет, каким обладал автор «Архипелага ГУЛАГ». И тем не менее многие из читателей «Красного колеса» наверняка ощутили озадачивающее неудовлетворение.

Дело, возможно, и в том, что повествовательный дар Солженицына, как уже сказано, просто не рассчитан на масштабную форму, на многотомные романы и в настоящем блеске проявляется именно в жанре повести. (Само по себе это нисколько не умаляет и не унижает таланта писателя.) Но главное все же в другом: художника в авторе «Красного колеса» последовательно и неумолимо съедала, поглощала идеология. Случай далеко не первый в отечественной литературе XX века. Сходным образом идеология уничтожила, выхолостила художника в Максиме Горьком. Его поглотила «социальная

педагогика», страсть к утверждению социалистического идеала. Казалось бы, Солженицын устремлен к совсем другому идеалу (назовем его пока национально-государственным). Но, стало быть, диктат любого идеала противопоказан искусству; любая идеология, революционно-пролетарская ли, национально-государственная или еще какая-нибудь, если она проникает в самую плоть художества, губительна для него. А с Солженицыным произошло именно это. Он все больше подчинял творчество проповедничеству, к нему сводя главный смысл писательства.

Идея, которой он стал служить, состоит в утверждении национального развития России не по западному образцу, не на путях свободы. Свобода для Солженицына вообще сама по себе ценности не имеет; она лишь условие, «форма для осуществления других, высших задач» *: «...Всякая свобода — дар не самоценный, а — проходной, лишь разумное условие, лишь средство, чтобы мы с его помощью могли бы достичь какой-то другой цели, высшей» (IX, 38).

Именно здесь ядро его мировоззрения. И, начиная именно отсюда, с ним невозможно согласиться. Солженицын настаивает, что свобода — отнюдь не главное достояние человека, не обязательна ни для общества, ни для личности. Он противопоставляет ей нечто иное — «возможность развиваться к целям нравственным» (IX, 41). В этом настоящая земная задача человека, его главная ценность. Чтобы развиваться к целям нравственным, достаточно «свободы внутренней»; ее же, к убеждению Солженицына, «мы можем твердо осуществлять даже и в среде внешне несвободной» (IX, 41).

Эту сомнительную идею Солженицын отстаивает вполне последовательно, не боясь крайностей. Еще в «Раковом корпусе» можно было прочитать, что освобождение может оказаться и во вред. А в 1974 г. уже на Западе, на пресс-конференции в Стокгольме Солженицын рассуждал о том, что отсутствие «свободы устраивать свою жизнь» в нашей стране имеет свои «преимущества» (слава Богу, он все же возьмет это слово в кавычки): «создается пространство времени и души для каких-то других, совсем нематериальных забот...». И, поясняя свою мысль, добавлял затем, что в тюрьме, «где совсем ничего от тебя не зависит», «остается больше времени для души и для сочувствия другому» (X, 148).

Эта похвала неволе и пренебрежение к человеческой свободе могут показаться удивительными у автора «Архипелага ГУЛАГ». Но мы перестанем удивляться, когда вчитаемся в высказывания «другого» Солженицына — идеолога: мы обнаружим в них то стойкое неверие в человека, недоверие и даже презрение к нему, которые объясняют если не все, то многое.

Солженицыну чужд, если не сказать враждебен, гуманизм. Он этого и не скрывает, во всяком случае, еще в недавнее время не скрывал: «Гуманистическое сознание, заявившее себя нашим руководителем, не признало в человеке внутреннего зла, не признало за человеком иных задач выше земного счастья и положило в основу современной западной цивилизации опасный уклон преклонения перед человеком и его материальными потребностями... Так и оставлены были сквозняки для зла, которые сегодня и продувают свободно» (IX, 294).

В противовес «гуманистическому безрелигиозному сознанию» Солженицын убежден, что в самой земной природе человека заложено внутреннее зло — и если дать людям свободу, то именно это зло и восторжествует. Поэтому человек нуждается не в свободе, а, наоборот, в обуздании и ограничении своих земных, материальных страстей. Это ограничение шло и будет идти из сферы духа, от той сверхматериальной инстанции, к которой постоянно апеллирует Солженицын: «...Мы утеряли то Целое, Высшее, когда-то полагавшее предел нашим страстям и безответственности» (IX, 296).

Утеряли, впрочем, не навсегда. Солженицын учит, что антитезой злу, гнездящемуся в земных интересах, материальных устремлениях человека, служит его духовный потенциал, «опыт нравственного возвышения», голос Высшего Духа в его сознании. Этот голос, по существу, и заменяет у Солженицына нашу свободу воли, свободу выбора. И подлинный, «более высокий смысл жизни» людей лишь в одном — не «земное счастье» в любом его виде, «но несение постоянного и трудного долга... покинуть жизнь существом более высоким, чем начинал ее» (IX, 297).

Что такой высокий смысл, высокое достоинство может нести в себе та реальная жизнь, которой «просто» живут люди, что, занятый «материальными интересами», трудясь, чтобы создать себе достаток, строя свой дом, оставляя потомство и т. д., человек как раз и **несет свой долг,** исполняет выпавшее ему на земле,— этого Солженицын просто не допускает. Он убежден, что земные заботы человека — это низменные и суетные заботы, не более чем «захлеб повседневностью», не более чем стремление к «наилучшим способам добывания благ, а потом веселому проживанию их» (IX, 297).

На первый взгляд с этим плохо совместим мир солженицынских образов, те герои, кому отданы его симпатии, кто несет в себе положительное для автора содержание. И прежде всего полные живой человеческой теплоты образы Ивана Денисовича и Матрены Васильевны. Уж их-то заботы самые земные и тем не менее совсем не «захлеб повседневностью».

Но дело в том, что все эти герои неизменно предстают у Солженицына как раз вне нормальных, естественных обстоятельств человеческого бытия, в страдательном, неблагополучном положении — в лагере на общих работах, как Шухов, или таким же бесправным зеком в шарашке, как Нержин; в нищете и ничтожестве, как Матрена Васильевна, или под смертным гнетом болезни, как Олег Костоглотов.

Нормальная, «благополучная» человеческая жизнь в ее плотском естестве, с «материальными» стремлениями, тревогами, радостями — если не ненавистна Солженицыну, то чужда, непонятна ему, мало его привлекает. В свое время он достаточно прямо это декларировал: «Сложно и смертно давящая жизнь выработала характеры более сильные, более глубокие и интересные, чем благополучная регламентированная жизнь Запада» (IX, 290),— говорил Солженицын в Гарвардской речи 1978 года. И потому он любит своих героев именно и только в страдании, под смертным давлением обстоятельств, отторгнутыми от полноты человеческого существования — в лагерной неволе, в нищете и унижении, в тяжелом недуге. Казалось бы, Георгий Воротынцев и Арсений Благодарев — те два сквозных героя «Красного колеса», которым Солженицын открыто симпатизирует,— казалось бы, они призваны передать именно цветение, полноту, достоинство той сложившейся за века естественной жизни, которую отнимает у России революция. Но и в их изображении Солженицын не уходит от страдательного ракурса: и Воротынцев, и Благодарев военной судьбой, злосчастным оборотом событий отлучены от той благополучной жизни, для которой они созданы, которая была бы сопригодна им.

Словом, и Солженицын-художник достаточно покорно следует за Солженицыным-идеологом: он так же решительно отказывает человеку в «земном счастье», оставляя ему лишь «опыт нравственного возвышения», лишь «несение постоянного и трудного долга».

Конечно, все это, в общем, тривиально. Солженицын лишь вторит угрюмому христианскому воззрению на человека — воззрению, согласно которому земная жизнь людей есть «путь греха», и только помощь свыше, Божья Благодать, сулит нам Спасение; весь смысл «земного поприща» людей — соответствовать внеземному «замыслу о человеке». Это, пожалуй, главная слабость христианства, способная оттолкнуть и действительно отталкивающая от него многие независимые умы,— идея о несовершенстве и ничтожестве человеческой природы, нуждающейся в покровительстве верховного существа; это неверие в собственные силы человеческого духа, в его способность без всякой помощи свыше противостоять «грехам мира», окружающей его бездуховной материи. Точно так же неверие в человека, презрение к нему отвращают и у Солженицына.

Убежден, что земная задача человека вовсе не в том, чтобы покинуть жизнь существом более высоким, чем начинал ее. Это задача, решаемая попутно. Действительная же земная задача человека и есть та реальная жизнь, которой он живет, с ее ежедневными трудами, с «материальными» заботами и нематериальными («духовными») интересами. В этой «приземленной» жизни заключено высокое достоинство: она часть того вечного и единственного, что дано человечеству в этом мире, куда мы необъяснимо заброшены,— осваивать этот мир и осваиваться в нём, трудясь и воюя, строя и разрушая, открывая и заблуждаясь, веруя и отрицая и т. д., до бесконечности.

И свобода есть то единственное безусловное состояние, в котором только и осуществляются наши возможности, то единственное состояние, благодаря которому человек реализуется как человек.

И в этом смысле свобода неделима. Ее невозможно расчленить на «внутреннюю» и «внешнюю». Мы действительно рождаемся уже существами со свободой воли, свободой выбора. Солженицын называет это «главной частью свободы» — «внутренней свободой». На деле это еще не свобода, а лишь готовность к ней. Она становится действительной свободой, только о с у щ е с т в л я я с ь. Свобода воли, способность к выбору, данные нам «от рождения»,— и возможность этот выбор, эту волю осуществить (свобода действия — «внешняя свобода») в их единстве, вместе, нераздельно и составляют настоящую человеческую свободу. И ее отсутствие отнюдь не способствует духовному совершенствованию, как пытается внушить нам Солженицын. Оно, наоборот, уродует человеческий дух. Собственно, эпизоды из биографии Солженицына, им самим рассказанные, служат примером и подтверждением тому. В книге «Бодался теленок с дубом», по существу, и рисуется, как именно ситуация несвободы, невозможность свободно осуществить себя, свои замыслы, свою «внутреннюю свободу» сделали из писателя непривлекательную и неискреннюю личность, лицемерившую даже с Твардовским.

Иное дело, что человеческая свобода означает и свободу от собственных низменных инстинктов — от «внешних» соблазнов мира и от «сил растления в себе самом». «Самоограничение», о котором так печется Солженицын,— вовсе не противоположная свободе категория, извне ставящая ей пределы; она есть ее органичное свойство. Отказ от соблазнов для действительно свободного человека — не усилие над собой, не трудный выбор, а «от природы» данная способность. И потому бессмысленно повторять: «Наши обязательства всегда должны превышать предоставленную нам свободу» («Как нам обустроить Россию?» — «ЛГ», 18.09.90). Отнюдь нет. Нашей свободы ничто не должно «превышать» и ограничивать.

Из основного взгляда Солженицына на человека, на необязательность свободы для него вытекает его историософия — вся та сумма идей, которая складывается в проповедь особого пути для России. Исходным здесь служит призыв отказаться от западного опыта, не следовать великому примеру свободы в Европе и Америке. Гуманистические западные демократии для Солженицына — это государственные устройства, отвечающие именно земным, материальным интересам людей. В этом их ущербность, исток их внутренней слабости. В условиях таких демократий «человек получил необузданную свободу — просто так, для своих страстей» (IX, 294), «но совсем поблекло сознание ответственности человека перед Богом и обществом» (IX, 295). Тем самым западные демократии едва ли не еще вреднее для «духовной сущности» людей, нежели тоталитаризм. По Солженицыну, важны отнюдь не политические свободы, не гражданские права, не правовое устройство государства, а «соображения внутреннего, нравственного, здорового развития народа» (IX, 165). Для нашего отечества лучшим устройством в этом смысле служит авторитарное государство. Так было в прошлом: «...Тысячу лет жила Россия с авторитарным строем — и к началу XX века еще весьма сохраняла и физическое, и духовное здоровье народа» (IX, 163). С этим же строем Солженицын предлагает связывать ее обозримое будущее: «...Может быть, следует признать, что эволюционное развитие нашей страны от одной авторитарной формы к другой будет для нее естественней, плавнее, безболезненней?» (IX, 43).

Это сказано в 1973 году, и с тех пор творчество Солженицына стало, по существу, развитием, пропагандой, иллюстрацией этого фундаментального тезиса, развертыванием его в картинах и монологах. Не отступил от него Солженицын и сейчас. Когда в трактате «Как нам обустроить Россию?» он рассуждает о пользе сильной президентской власти «на немалые еще годы», когда предлагает «пересоставлять государственный организм» при (временном) сохранении опять-таки сильной центральной власти, он вновь выдвигает тот же идеал авторитарного правления, лишь называя это другими словами — более осторожными, приличествующими моменту.

Вообще говоря, Солженицын пытается дать рациональную мотивировку своему неверию в демократию. Он неоднократно заверял, что хотя и видит ее недостатки, но не отвергает демократии как таковой,— он лишь считает Россию к ней не готовой и предлагает постепенный, растянутый во времени переход к ней через авторитарный строй: «И со скалы леденящего тоталитаризма я мог предложить только медленный плавный спуск через авторитарную систему (неподготовленному народу с той скалы сразу прыгнуть в демократию — значит расшлепаться насмерть в анархическое пятно)» (IX, 337).

Однако все это не более чем словесные эффекты. Дело, конечно, не в тех или иных рациональных соображениях. Идиосинкразия Солженицына к демократии неизбежно следует из его представлений о греховной природе людей. Коль человек нуждается в обуздании, ограничении своих страстей, а его земная задача осуществима и в несвободной среде, то демократия в самом деле не лучшее устройство. Именно авторитарная власть способна быть инструментом искомого ограничения человеческой свободы, нравственно оправданного, по мнению Солженицына. В этом суть дела, а не в опасениях, не расшлепается ли Россия в анархическое пятно.

Так писатель, с огромной непреклонностью и выразительной силой восставший против системы лишения свободы в стране, в итоге сам отказал своей родине в свободе.

Окончание следует.

*** Александр Солженицын. Собр. соч. Том IX. Вермонт — Париж, 1981, с. 40. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться непосредственно в тексте с указанием тома и страницы.**

Вам надо только позвонить,
и желаемое станет действительным.

ТЕЛЕ-МАРКЕТ

Заявки на сделки купли-продажи из любой точки страны по телефону: 972-59-18, 972-59-28, 972-59-38, 972-59-48, 972-59-58, 972-59-68

ТЕЛЕ-МАРКЕТ

принимает информацию только от организаций.
Предложения о создании региональных представительств отправляйте по факсу

(095) 117 26 30

НЕКОТОРАЯ ПОЛЬЗА ОТ ПОЛИТИКИ

Джейми ГАМБРЕЛЛ,
обозреватель журнала «Арт ин Америка» — специально для «Огонька»

Не будет преувеличением сказать, что до Горбачева и перестройки не существовало в Америке сколько-нибудь последовательного интереса к современному советскому искусству. Как верный слуга государственной идеологии, оно оставалось не более чем курьезом, в лучшем случае примечанием к истории европейского и американского искусства. Неофициальным советским искусством, которое после «бульдозерной выставки» 1974 года периодически попадало на страницы газет, интересовались очень немногие, и писали о нем скорее журналисты, чем критики. Самым известным американским коллекционером, собиравшим неофициальных художников, был Нортон Додж. Несмотря на то, что в его коллекции были великолепные произведения Комара и Меламида, Кабакова, Булатова и Чуйкова, явление это, как правило, не принималось всерьез. В результате современное неофициальное искусство долгое время просто сбрасывалось со счетов как печальное свидетельство упадка некогда великой культуры, породившей Малевича, Родченко и Татлина.

Однако тесная связь с каким-либо политическим явлением иногда имеет свои преимущества — именно благодаря ей в последнее время советские художники получили такую рекламу в Соединенных Штатах и такой интерес широкой публики, какие в обычных условиях художники не вызывают.

Но, разумеется, такая связь имеет и свои минусы и может стать поводом для огорчений советских и восточноевропейских художников, которые хотят, чтобы их оценивали по творчеству, а не по паспорту. В рамках социологии американского художественного мира классификация в категории «политического феномена» немедленно помещает художника в ситуацию, аналогичную таким нашим собственным «чужеродным» группам, как женщины, негры, латиноамериканцы и другие «меньшинства». Для элитарного круга влиятельных галерей, критиков, музеев и их кураторов советские художники были прежде всего таким «чужеродным» явлением — «аутсайдерами».

Американская карьера Комара и Меламида — прекрасная тому иллюстрация. Они приехали в Соединенные Штаты в 1978 году; за плечами у них было уже две выставки в галерее Рональда Фельдмана (первая из них состоялась в 1976 году, когда художники были еще в Советском Союзе). Хотя эти выставки привлекли внимание широкой прессы, критики не торопились с серьезной оценкой их творчества, не замечая в них глубоких связей с «магистральным направлением» западного авангардизма. Такой взгляд был, конечно, чрезвычайно близоруким — часто он был лишь результатом лености и снобистской групповщины: на самом деле ранние концептуальные работы Комара и Меламида выходили далеко за рамки их советских истоков — в них было сказано немало важного о создании искусства, о мифе художника, а также и о политической жизни Запада. Тем не менее в течение нескольких лет после их переезда в США Комара и Меламида неизменно называли «русскими художниками-диссидентами».

Постепенно, по мере того, как работы Комара и Меламида становились более известными, слово «диссиденты» стало исчезать. Еще за несколько лет до начала перестройки начало выпадать и слово «русские» (в США и евреев, и представителей других национальностей СССР неизменно и не совсем точно называют «русскими» — будем надеяться, что текущие события в СССР помогут американцам осознать, что там существуют и другие национальности, и другие культуры). Какое-то время их называли «художниками-концептуалистами», а теперь чаще всего просто пишут: Комар и Меламид. В каком-то смысле это культурная победа в борьбе, которая предстоит сейчас многим другим советским и восточноевропейским художникам, желающим влиться в общее русло западной художественной жизни. Пафос оппозиции и преследований породил серьезнейшие проблемы для художников, с которыми он самым непосредственным образом ассоциируется,— например, для бывших неофициальных московских авангардистов.

Существует серьезная опасность, что эра перестройки станет для них периодом «творческого застоя». Многим трудно отказаться от оппозиционной психологии, так как она является частью чувства групповой общности, частью внутреннего творческого самоощущения художника и его самооценки.

Условия западного рынка заставляют таких художников эксплуатировать историческое прошлое, как статичную мифологию, застывший образ. Кроме всего прочего, в результате и по отношению к Западу художник занимает ту же позицию вечного изгоя.

...Не так давно со своего удобного наблюдательного пункта (проще говоря — сидя за своим столом в редакции журнала «Арт ин Америка») я обратила внимание еще на один новый феномен: я имею в виду «исправление» истории. За последние пару лет я потеряла счет бесконечным пресс-релизам, посвященным предстоящим выставкам советских художников. В них обычно говорится, либо что художник страдал от преследований в брежневские годы, либо что он входил в группу художников-оппозиционеров, которые «не хотели подчинять свою творческую индивидуальность репрессивным требованиям советского общества»,— это почти точная цитата из одного такого документа. Иногда перечисленные имена мне просто неизвестны — что же, я готова предположить, что на самом деле все так и было. Однако все чаще и чаще этим политическим пафосом неофициальности пользуются художники, хорошо известные в Советском Союзе, в действительности занимавшие вполне респектабельное положение, прекрасно зарабатывавшие и активно участвовавшие в официальной художественной жизни.

В каком-то смысле этому присвоению «прошлых преследований» соответствует и бурный поток соц-арта, исходно — стопроцентно неофициального советского поп-арта. Стилистические тенденции «подпольного» искусства прошлых лет охотно присваиваются (и это вполне естественно) совсем молодым поколением, которому не довелось на собственном опыте пережить «подполье». Однако возникают и неоднозначные ситуации, когда определить, циничный ли это коммерческий маневр или искренний поиск, можно лишь на основе знакомства с прошлым творчеством данного художника.

Без сомнения, многие советские художники знают, что значит работать действительно в тяжелых условиях; благодаря своему опыту они очень чутко реагируют на расхождения между идеологией и практикой. К тому же они знают, что может случиться с искусством, когда оно сближается с властью. Они умеют читать между строк. И если объединенной Европе суждено стать реальностью, будем надеяться, что они не разучатся все это делать.

Фото Д. ДЖЕЙМСА ДИ

Перцы (Олег Петренко и Людмила Скрипкина)
БЕЗ НАЗВАНИЯ. 1989.

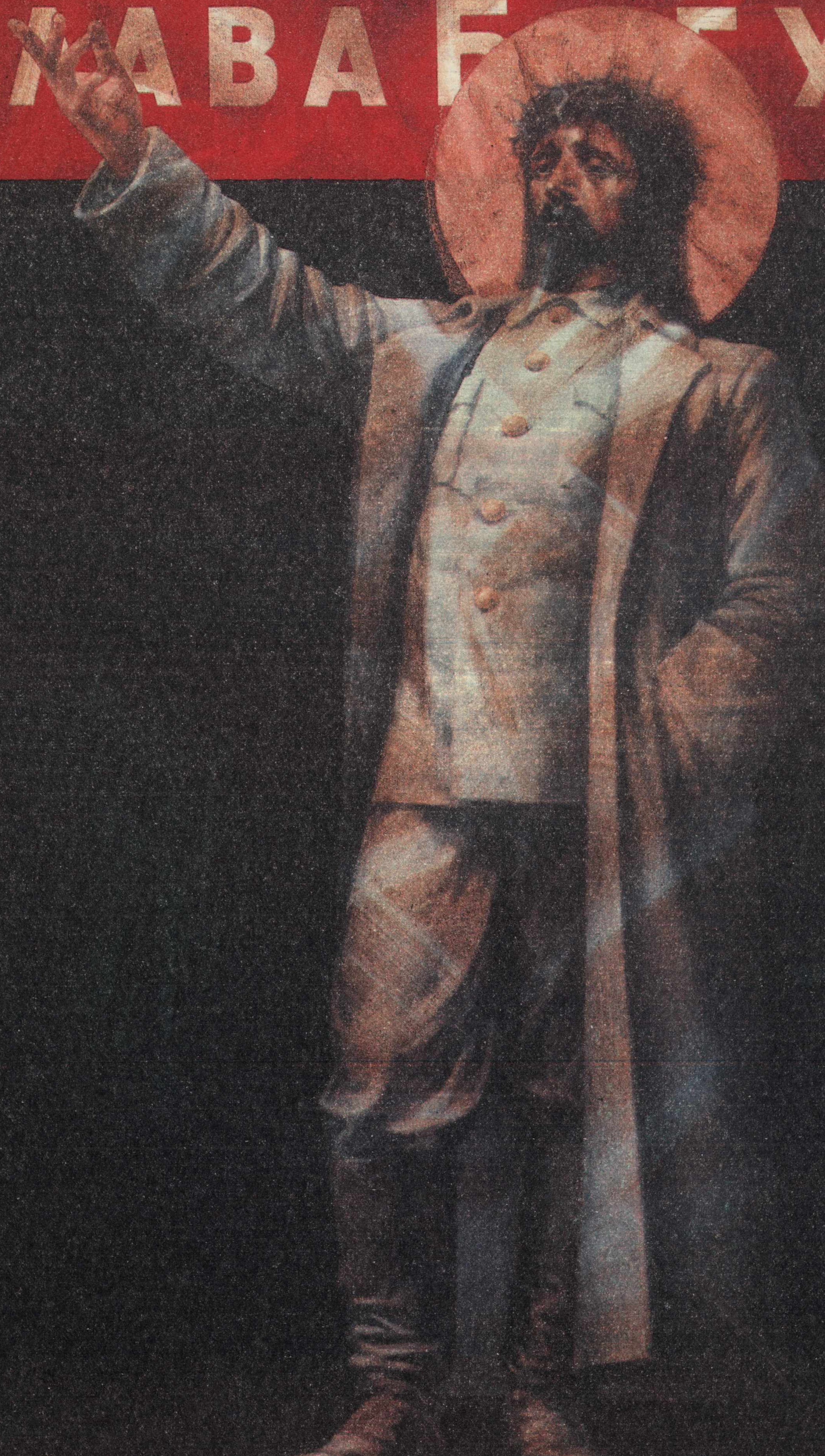
Эрик Булатов
«ЕДИНОГЛАСНО». 1982.

ЕДИНОГЛАСНО
ЕДИНОГЛАСНО
ЕДИНОГЛАСНО

Константин Звездочетов
«С НОВЫМ ГОДОМ!». 1988.

Игорь Макаревич
ПОРТРЕТ ИВАНА ЧУЙКОВА. 1984.

Комар и Меламид
БЕЗ НАЗВАНИЯ. 1983.


СЛАВА Б ГУ!

Андрей Филиппов
«РИМУ – РИМ». ИНСТАЛЛЯЦИЯ В РИМЕ. 1989.

Илья Кабаков
«ЧЬЯ ЭТА КРУЖКА». 1981.

«МЫ ДЕЛАЕМ — БИОГРАФИИ»

«Огонек» давно намеревался побеседовать с нашими бывшими соотечественниками, ныне известными американскими художниками, работающими вместе,— Комаром и Меламидом. Виталий Комар приехал в Москву по семейным делам. С ним встретились главный редактор петербургского киножурнала «Сеанс» Любовь АРКУС и художественный обозреватель «Огонька» Илья ЦЕНЦИПЕР. В результате получилось предлагаемое вашему вниманию интервью с художником Комаром-и-Меламидом, часть первая.

— Ваши американские работы, в частности знаменитая серия «Ностальгический соцреализм», предвосхитили модную теперь тоску по этому «большому стилю», в которой даже сегодня много странного, тревожного. Но тогда, десять лет назад, в особенности поражало, что в ней была любовь. Любовь к тому, от чего, вероятно, вы уезжали...

— Однажды — это было через три или четыре года после приезда в Нью-Йорк — мы зашли в библиотеку и попросили старые «Огоньки» конца сороковых — начала пятидесятых годов, которые я видел в детстве и которые собирал в пачки мой дедушка.

Я листал и точно знал, что будет на следующей странице. Я помнил.

Совершенно фантастический запах у этих страниц. Он остался. В Нью-Йорке влажный климат, там все принимают душ по три раза в день, и там, конечно, другая культура запаха. Но запах этих страниц — он остался внутри. Запах старой советской бумаги.

Так вот. Мы пытались воссоздать фальшивую, но реальную для нас тогда картину мира. Потом мы узнали, что она фальшивая. В лучшем из миров согласно официальной идеологии и школьной пропаганде.

Ностальгия объясняется не тем, **где** и **когда** происходило детство, а тем, что оно происходило и осталась память о том, во что невозможно вернуться.

Эта эпоха, видимо, неповторима. И она уходила в прошлое и все темнела, потому что прошлое — оно темное по определению. И мы создали свой индивидуальный соцреализм. В нашем сознании, в памяти сомкнулись первомайские открытки, огоньковские иллюстрации и темная живопись в музеях.

Не исключено, что мы вернемся к нашему ностальгическому соцреализму и наша индивидуальная ностальгия может превратиться в ностальгию коллективно-историческую. Я думаю, вся страна когда-нибудь вспомнит (не потому, что захотела бы жить в это кровавое время) ту единственную в истории России эпоху, когда на поклон в Москву ездил владыка Китая... Если выражаться в старомодной геополитической терминологии, это был момент наивысшего взлета Русской империи.

— Вы сказали, что это был фальшивый мир, и одновременно, что система критериев скомпрометирована. Значит, есть правда. В чем она заключена для вас?

— Правда — понятие, связанное с ясными критериями. А сейчас критерии не то чтобы спутаны, но их множество.

Есть один механизм, который, как я понимаю, работает в Америке и Западной Европе. Это мода. Критерии периодически меняются. Но они имеют временные периоды стабильности. Очевидно, что существует примерно декадовый цикл во всем. Я застал уже две смены моды в Америке. Когда появились панк, рок, одновременно забыли концептуализм и пошел примитивистский экспрессионизм. Потом пришел Рейган. Появилась энергия, все стали большими оптимистами, начался экономический подъем, стали возвращаться моды 50-х годов.

Мы воспитывались в представлении, что мода — это что-то отрицательное, поверхностное, несерьезное. Сейчас я думаю, что мода сродни глубоким природным процессам. Мода — это дыхание Левиафана, это циклы: день, ночь, весна, осень. Двухпартийная система управления государством (гениальное изобретение) — из той же оперы. Вдох — выдох. Все может возвращаться, меняться местами, ходить по кругу. Для современного сознания мода наиболее успешно имитирует критерии, дает нам иллюзию опоры. Мода — это фантастическое, мистическое явление.

Главное, что она связана с одной безотносительной шкалой, я имею в виду «прошлое — будущее». Потому что она связана с историей, а значит, с понятиями «завтра» и «вчера». И поскольку машина времени еще не построена, мы не можем быстро повернуться назад и сказать: вот теперь у меня будущее сзади, а прошлое впереди. В то время как с другими критериями это возможно. Например, было понятие «верх — низ», Бог и Дьявол, Небо и Бездна, Добро и Зло — система была всеобъемлюща и долгие столетия заменяла собою всякие другие. Но потом появился Магеллан, которого богословы сразу восприняли очень плохо. Потому что если Земля шар — все, уже нельзя сказать, что добро выше,— скомпрометирована сама идея абсолютной вертикали.

То же самое и с понятием «левое — правое». Тут все тоже меняется: вы повернулись — и все изменилось. Левые приходят к власти, начинают править, становятся правыми.

Но понятия «впереди — позади» — это необратимые понятия. И поэтому мода, использующая этот вечный движок,— временная имитация критериев, с которой все, в общем, живут.

— Если так метафизически толковать моду, чем можно объяснить моду на соцреализм?

— Социализм был в принципе против моды. Если вообще каким-то словом определять социализм, то можно сказать, что это была попытка выпрыгнуть из реки времени. Механизм моды в России не работал, но имитировался. Все эти истерические кампании, предпринимаемые правительством,— за мелиорацию, за ускорение и т. д. — это попытка бюрократической имитации моды.

И Гитлер, и Сталин — все национальные варианты социализма — боролись с модой, боролись с временем. Они чувствовали глубокую чуждость моды, ее провокационность по отношению к их претензиям на абсолют.

Вражда с модой — вражда с временем, вражда с историей. Остановить, замедлить, убыстрить, поступить с этим Левиафаном по собственному произволу. Изменить его дыхание.

Но он все равно дышит.

Он дышит так, как он дышит.

— То есть этот мир неистинный, потому что существует множество критериев, а он претендовал на абсолют?

— Наверное, можно и так сказать. Они пытались превратить время в прямую линию. Вчера было плохо, сегодня — временные трудности, а завтра будет хорошо. Это самая примитивная схема. Она в принципе против моды. Мода никогда не исходит из этой идеи. Мода говорит: да, вчера это было модно. А сегодня это не модно. Но завтра это может быть опять модно. Это совершенно другой подход, близкий к дыханию человеческому. Близкий к природным циклам.

— В своем искусстве вы говорите что-то? Ваше искусство — это общение?

— Да. Безусловно.

— Тогда вопрос — кому? И — что?

— Нас двое. Каждый художник, когда он думает об идеальном зрителе, он имеет в виду собственное отражение. И это не заблуждение. Я разговаривал со священниками (недавно мы сделали для католической церкви две иконы), и они сказали мне так: все уверены, что их грехи уникальны. Но когда вы слушаете исповеди год, два, вы понимаете, что люди говорят об одном и том же.

Единственный критерий, когда мы делаем свои работы,— это мы сами. Может быть, мы более склонны к самоиронии, потому что видим друг друга как в кривом зеркале: один толстый, другой худой, один более экстравертен, другой более интравертен, нам легче, наверное, подсмеиваться друг над другом.

Но что касается того, что мы хотим сказать, мы все время имеем в виду разные вещи. У нас была принципиальная установка, которая сейчас уже стала привычкой,— меняться. Мы работаем всегда одновременно над разными вещами. Наверное, это напоминает гул голосов в одной комнате, где каждый говорит о своем. Но есть какая-то музыка в этом гуле.

Вот вы говорите о ностальгической серии. Мы не считаем, что это лучшее из того, что мы сделали. Мы говорим принципиально разные вещи все время и работаем в разных манерах.

Вот один из проектов, над которым мы работаем сейчас. Есть такое слово, магическое для американцев: «Сиерс», система магазинов, которая распространена по всей Америке. «Сиерс» — это своего рода храм и это почти религия, в которой вы найдете все, особенно если говорить о вещах: начиная от холодильника и кончая мелочами. Но там все наоборот: дерево там всегда покрашено как металл. А металл как дерево. Потребитель всегда имеет дело не с реальностью, а с чем-то другим.

Это как в случае с телевизором. Американец приходит с работы, он удобно протягивает ноги, берет банку с пивом и смотрит: не реальность, а то, как реальность ему представляют. «Сиерс» это делает на уровне мебели. Телевизор — на уровне сказки обо всем мире. Например, война в Персидском заливе. Казалось, что все это кем-то запланированная игра. Цветные, яркие кадры — как диафильм для детей. Это особое восприятие жизни, и все больше людей предпочитает иметь дело не с реальностью, а с телевизором. Предпочитают иметь дело не с деревом, а с тем, что похоже на дерево. И вот мы делаем такую выставку, посвященную «Сиерсу», этой имитационной культуре, которая не то чтобы скрывает реальность, но покрывает ее особой пленкой, особой телевизионной линзой.

— Сколько лет вы здесь не были?

— Я был здесь последний раз в 1989 году. И еще я приезжал в 1988 году. Но это были все быстрые поездки — на неделю, не больше. Когда здесь шла «революция», этот путч, совершенно очевидно было, что какой-то режиссер существует. Понятно, что было много импровизации, это я понимаю, так всегда, но умная режиссура сквозила во всем. И, конечно, все мы, наверно, немножко испорчены Бахтиным — мне казалось, что тут много поистине карнавальных элементов. Помните, во время карнавала отстраняется старый король, настоящий король, приходит бобовый король, приходит на время. И вот он может быть убит в конце карнавала, а может стать и настоящим королем. Тогда этот карнавал называется революцией... Хватало и пародийных элементов: вместо броневика — танк, а позы те же... Я помню обложку "Newsweek" в Нью-Йорке, там в этой же ленинской позе был изображен Ельцин. И, конечно, то, как он распоряжается ... Эти его декреты... Взять партийные здания и раздать судьям. И так далее.

— Насколько концептуально для вас то, что вы работаете вдвоем?

— Мы считаем себя концептуалистами. И наша жизнь вообще концептуальна. Это не есть живопись сама по себе. В конце 19-го века появились художники, которые в качестве реакции на салонную живопись, на смысловую живопись просто отрицали тему, сюжет. Это была мода того времени. Они просто писали пейзаж. Просто натюрморт. Сюжет был изгнан. Это было страшно свежо, страшно приятно. Поэтому акцент переместился на то, «как сделано». Ну, это простой пример из истории искусства. Где-то после абстракционизма, который не просто изгнал сюжет, а сделал его в принципе непереводимым на нормальный язык, появился концептуализм, к которому мы себя причисляем. И конечно, наш соцреализм, метасоцреализм, он тоже концептуален. Потому что сам соцреализм был идеей. Идея и концепция вообще в переводе очень близки. И требование идейного искусства — это требование концептуального искусства. И наша соцреалистическая серия тоже выражает идеи концептуального искусства.

— Общение с возможным, потенциальным зрителем — оно преследует какую-то цель? Что, по-вашему, должно произойти в результате?

— Главное, что мы делаем в искусстве,— создаем некие химеры, которые можно назвать биографиями. Эмигрируем — чтобы делать биографии; возвращаемся — чтобы делать биографии; работаем и меняемся — чтобы делать биографии; участвуем в погоне за славой и деньгами — чтобы делать биографии.

С Михаилом НЕНАШЕВЫМ беседует специальный корреспондент журнала «Огонек» Александр ТЕРЕХОВ

ЗАЛО

●

— Доброе утро, Михаил Федорович.

— Не слишком доброе... К нашим общим бедам прибавились свои, тяжелые. Три недели назад умер мой отец. К стыду своему, не был у него четыре года. А ему ничего не было так нужно, как поговорить со мной. Три дня назад в пять утра я узнал, что умерла моя мама. Это она открыла мне великую тайну книг, страницы Жюль Верна, Стивенсона, Аксакова, Тургенева, Толстого. Теперь я читаю эти книги внуку...

На днях я предложил президенту расформировать наше министерство. Он согласился.

Физически я подготовлен к трудностям, к перегрузкам, ибо легко никогда не жил. Пережил грань шестидесяти лет, но пожилым себя не считаю. Часовой бег с 7 утра при любой погоде и как минимум 12-часовой рабочий день позволяют держать нужную форму. Но порой ловлю себя на том, что боюсь завтрашнего дня, не хочу просыпаться.

Жалею ли, что многое в жизни надо было сделать иначе? Нет. Да и смысла в этой жалости не вижу. Не жалею, что на мне поставили своеобразный опыт, проведя через все круги «ада» информации: газета, Госкомиздат, Гостелерадио. Наиболее счастливыми считаю годы работы в газете. Наиболее бесплодный — нынешний, 1991 год. Я его считаю годом невостребованным. По моей натуре невостребованность — как тяжкое наказание. Больше всего не пожелал бы невостребованности своим детям.

— А помните день призыва на партработу?

— Семья плакала, провожая меня, как на фронт. Ведь я заведовал кафедрой, оклад — четыре сотни. На районной партконференции в ноябре 1963 года говорят: будете избраны на городскую. Дело вроде бы естественное. Секретарь обкома объявляет: вас изберут в горком, а там — вторым секретарем. Но я же не хочу! Вас же из-бе-рут, и я все для этого сделаю! И все. Иди в двадцать девять лет на 180 рублей, работай до ночи в горкоме, отвечающем за жизнь полумиллионного Магнитогорска. Поначалу как вузовский демократ больше всех боялся свою секретаршу — вдруг что спросит. Шофер, пожилой Иван Артемьевич, все время подсказывал, как не делать большие глупости. Я иногда поначалу думал: ведь лучше его не найти второго секретаря по воспитанию. Горком за рекой. Я жил в Азии, а на работу стал ездить в Европу. Дальше Челябинский обком — я сменил Е. М. Тяжельникова.

— А о чем вы мечтали?

— В институте хотел читать лекции (и удавалось) — без всякого текста, владея предметом досконально. Начало было нелегким, студенты многие были постарше меня, а я честолюбивый — хотел быть для них научным авторитетом... Из обкома долго уговаривали в Москву. Года четыре. Яковлев, Демичев. «Созрел», дескать, уже. Я не хотел. В конце концов взяли в отдел пропаганды — замом по международной информации. Меня! Не знающего языков! Не выезжавшего почти ни разу! Из Челябинской области!

Для совместной работы с такими асами, как А. Черняев, В. Загладин, Г. Шахназаров,— доктора наук, специалисты высокой пробы! Сразу две мечты: выучить язык и защитить докторскую. Диссертацию защитил, а вот языком овладеть не удалось.

— Тяжело провинциалу в столице?

— Поначалу невероятно. Предложили бы обратно — с удовольствием! Переезд в зрелом возрасте всегда режет по живому, друзья остались там. В провинции больше искренности, меньше лжи. Говорят все: прямо в лоб! В Москве похвалят, польстят, а за спиной: сукин ты сын! Столица лживее и циничнее и в жизни, и в работе. Провинция страшна чинопочитанием. Первый секретарь — Христос. Идет всегда первым. Садится первым. Машина — 00-01, у второго — 00-02. За остальные идет ожесточенная борьба. У меня была 00-05, я поздно включился. Выскочишь на бюро раньше очереди — ЧП! Я как-то пошутил с первым: надо нам номера сделать на спину. Как хоккеистам, чтобы не путали. Обиделся. Совсем беда, что первым могут прислать кого угодно: от тебя не зависит. А если совсем неумный? Еще страшнее, если жена дура. Такие, присланные первыми в Челябинск, как Родионов Н. Н., были редким исключением. Гостей встречали тоже по чину. Зав. уральским сектором оргготдела пышнее, чем иного завотделом. Меня провожали в замзавы, как будто в кресло генерального секретаря ООН.

В Москве с людьми происходит странная перемена. Приехал, собираешь скорей земляков — выпили вместе, посидели. И ты рад — приняли! Ты свой. Время идет, а никто тебя не зовет. Встретишь: да, надо бы встретиться, ну, созвонимся. А ты — один. К нам в область Рыжков приезжал на подведение итогов, с «Уралмаша» я его сопровождал, в бане были... Так вот, когда мы с женой увидели его в Москве на заседании 7 ноября, тоже с женой, обрадовались как родному! Мы в один месяц в Москву приехали. С женами на заседание ходят только провинциалы и остаются после доклада тоже. Я больше — ни разу.

— Сейчас трудно поверить, что партийные работники занимались чем-то, кроме выпивки, закупок икры, посещения бань, строительства дач и получения орденов. Наверное, со временем мы более трезво отнесемся к партийной элите, тем более что птенцы ее повсеместно впереди, но уже на белом коне...

— Партия собирала лучшие силы народа, хотя кого-то и ломала. Партия единственная следила за реальной обстановкой в стране, и выдвинула силы для перестройки, и осмелилась показать свои язвы, Горбачев спас честь шестидесятников...

— Да, но какой ценой...

— ...Шестидесятники — реалисты, просветители, мы вышли из крестьянских семей и не хотели повторить трагический путь своих родителей. Все, что с нами произошло,— это неизбежность. Через это просто надо было пройти. Надо теперь поверить в свои силы, начиная с каждого рабочего места, с провинции. Съезды и сессии ничего не произведут, кроме гор очередной болтовни. Надо работать! Надо начать работать! Если каждый из сотен тысяч депутатов разных уровней сделает только по одному доброму делу — у нас будет сотни тысяч дел! Мы должны сами себя спасти!

— Михаил Федорович, а какие книги вам помогали расти?

— Не буду лукавить: читал то, чему нас учили. Аспирантура по истории партии. Узко готовили: три года занимался ленинским учением о революционной ситуации. Прежде всего — классику. На партработе почему-то увлекся лирическими стихами. А телевидение стало рубежом — там читать почти невозможно.

— И вам не кажется, что шестидесятники, которых вы называете реалистами и просветителями, невероятно невежественны в представлениях о земле, которой они единолично руководят, о ее истории, корнях, сложном духовном мире, литературе, я уж не говорю о религии...

— Да, это правда. Мы пытались строить по типовому проекту, по европейскому...

— В «Советскую Россию» вас сослали?

— Ну, как сказать. Пришел Тяжельников. Мне кажется, он не хотел иметь людей со своим мнением. Все-таки я уже три года проработал, земляк. Может, не стоило так уж сразу от меня освобождаться — может, я еще бы сгодился? А он еще меня с кем-то спутал и сказал Зимянину, что у меня кандидатская по газете. Вечером ни с того ни с сего звонит Зимянин: есть разговор. Так и так. Я ответил: для меня это совершенно неожиданно, я не представляю, как я смогу... Зимянин сказал: очень просто, в газете три слоя — творцы, бездельники, работяги. От бездельников не избавиться. Твоя задача: изменить соотношение. Остальное — из практики. Потом — короткий разговор с Сусловым. Мне, конечно, хотелось быть независимым, убежать от аппаратной скуки, но все-таки совсем неведомое дело... Я менял Петра Алексеева. Он, растоптав «Совроську», отправился растаптывать «Известия», он говорил: «Газета должна читаться ногами! Заголовком!» Он делал газеты для начальников, а они больше ничего не читали! После Алексеева немудрено было стать титаном.

— Насчет темы вашей кандидатской — ленинское учение о революционной ситуации — мне вспомнилось одно ленинское выступление перед молодыми социалистами в Швейцарии. Ленин сказал: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции». Это сказано 9 января 1917 года. А вы предполагали, что скоро все так сокрушительно рухнет?

— Разговоры были, но такие: а что же завтра будет? Сколько ж можно лес да нефть вывозить? Кто-то хорошо сказал: руководство партии, как говорится, «на выходе» — они могут свалиться, как кегли.

— За счет чего «Советская Россия» сумела выломаться из «правдинского околотка»?

— Газеты выходили одинаковые. Купи «Советский спорт», и прочтешь все, что в других газетах. Тассовки приходили не только строго назначенного объема, но даже и место указывалось, где поставить. Мы тронули самые неприкосновенные места: Москва, Краснодар, МВД, транспорт, приписки. Я без устали ходил в 10-й подъезд ЦК, Зимянин распекал, и я понимал, кто ему на этот раз позвонил. «Совроська» пыталась оторваться от вечного для наших газет столичного верхоглядства — половина наших материалов шла из провинции. Собкоры были уникальной независимой сетью на местах, куда можно было пожаловаться, попросить защиты, поискать правды. Я понимал: прежде всего нельзя закладывать собкоров. Отдам я его сегодня, завтра он уже не дерзнет. А было тяжко. Написал собкор про управляющего трестом — тот застрелился и записку оставил: виновата газета. Эту записку обком на стол Зимянину... Наших недовольных приглашали на беседы в ЦК, ребята из сектора печати приходили на собрания пощупать: крепко тут? Мы многое нашли и в оформлении газеты — все это перешло в другие издания. Пошли хорошие письма, медленно пополз вверх тираж. Я пришел — у газеты был миллион. В год ухода — около четырех. Я был жестким редактором, на редколлегиях шла битва за место на полосе. Я сейчас признаю, что был не прав, повторяя: «Нам, чтобы сделать хорошую газету, надо в пять раз больше усилий, чем остальным,— у нас нет золотых перьев». Теперь я понимаю, что был несправедлив.

— Под крышей «Советской России» работали будущие главные «Коммерсанта», «Советской России», «Огонька», «Книжного обозрения», «Слова», замредактора «Недели»

Ж Н И К

Станислав Сергеев, прославившийся смелым противостоянием спущенному сверху «редактору» Севруку, писали теперь маститые Артем Боровик, Дмитрий Лиханов, Василий Голованов, снимал лучший, на мой взгляд, фотограф страны Павел Кривцов. Вы представляли, как разойдутся пути-дороженьки этих людей, когда ваша газета — лучшая газета начала 80-х — испустит дух?

— Нет... Нет.

— Вы встречались тогда с Ельциным?

— Да. Первый раз в Свердловске. Я приезжал в область от газеты. Ему еще не понравилась моя передовица о том, что партийному работнику негоже хвастаться полусуточным рабочим днем.

— Была еще встреча?

— Гм... В бане. Когда его отправили в Госстрой, он оказался в нашем поселке, и мы сошлись в бане. Он все жаловался, что вот его представляют больным, а он вот какой здоровый мужик — это он мне показывал. Ну, я его немножко похлестал...

— И еще?

— Еще в связи с пленкой о его американской поездке. Пленка активно шла на Западе. Мы попросили ее у кого-то из западных журналистов. Это была моя идея ее показать. Все, кто посмотрел, сказали: конечно, надо. А тут еще пошли разговоры: а чего телевидение молчит? Мне не понравилась статейка в «Правде», и я не хотел идти таким путем. Позвонил Ельцину: «У нас есть пленка вашего выступления. Я хочу ее дать. Но она характеризует вас плохо». «А что?». «Получится, будто телевидение хочет в кустах спрятаться. Я не хочу: вот пленка, пусть увидят как есть. Но я не хочу, чтобы вы не знали. Я в спину не хочу стрелять. И поэтому приезжайте, посмотрите. Если желаете. Или помощника пришлите...». «Нет, я сам». «Когда приедете?». «Когда скажешь». Я позвонил срочно товарищам, и он приехал уже через час. Посмотрел. И мне звонит: «Плохая пленка. Лучше бы ее не давать». «Я не давать не могу. Об этом уже знают, и не только в нашем доме». «Тогда, раз ты не можешь не давать, у меня к тебе есть одна просьба. Надо еще дать какие-то материалы о поездке, а не тот один, где я выгляжу...». Я сказал подобрать материалы, и мы их дали, чтобы снять нарочитость.

— А как вы относитесь к легенде, что эта пленка сфабрикована в недрах Останкина?

— Это обычные политические приемы — я к этому совершенно спокойно отношусь. Был бы это монолог — еще куда бы ни шло, а на пленке постоянно кругом люди, говорят одновременно несколько человек, а дорожка-то одна — это технически невозможно исказить речь только одного.

— Вы помните ваш последний день в газете?

— Февраль, за день до XXVII съезда. Я вообще февраль не люблю, уходит и злобствует. Я сам считал, что созрел для другой работы. Говорят, есть такие правила — я сам не читал, но раз говорят, так и есть,— что больше какого-то срока человек не должен находиться на одной должности. Ходили слухи про ЦК, отдел пропаганды, про «Известия». А Зимянин предложил: Госкомиздат. Я ничего себе не представлял, даже слово пугало — стал отнекиваться. Он: это же повышение. Следующим в нарушение иерархии — времена менялись — меня принял Яковлев: «Ты что? Это же — книга!» Вообще мне кажется, что их выбор был случаен.

Я поблагодарил коллег за терпение. Вручили мне самовар. В министерстве можно сдавать дела неделю. В газете на следующий день тебе делать уже нечего — жаль. Грустный получился день, хотя, если честно, я только сейчас понял, что я тогда потерял.

В Госкомиздате я сменил Пастухова. Он и добыл это роскошное здание на Страстном бульваре, на которое теперь будет столько желающих... После нашего расформирования.

— Вы сами выбрали преемника?

— Меня поставили в известность — есть такое решение. В партии вообще было много... неизбежного. Как день меняет ночь. Так Брежнева должен сменить Андропов. И поэтому Брежнев настоял, чтобы именно Андропов вел секретариаты, и мы в один день вдруг обнаружили его «на хозяйстве». Был порядок. Если помощника «Советской России» был кандидатом в члены ЦК. Всегда. А редактор «Сельской жизни» — пусть хоть семи пядей во лбу — членом ревизионной комиссии.

— Сейчас всего не хватает, только книг сколько угодно на каждом углу...

— В этом кабинете раньше решали судьбу каждого издания: как выпустить? Сколько заплатить? Главное было, после того как я вошел в курс, распутать издателей. Мы раньше раскрепостили людей и еще стремились опережать время, и поэтому теперь я могу спокойно сказать, что с трудностями и потерями, но большинство издательств устояло в нынешнюю разруху и ни одна типография не прогорела — все удержались в конкуренции. Теперь следующие шаги — аренда, акционерные общества.

— Вы имели представление о телевидении?

— Знал, что там не ладится. Аксенов — честный, порядочный человек: работал на комсомоле, на хозяйственной работе, послом, но он не мог участвовать в творчестве. Мне кажется, он даже боялся его и отсиживался подальше от Останкина, на Пятницкой. Он был идеальным министром. Мне было жалко слушать его покаяния на Пленуме после попавшего в эфир предложения вынести Ленина из Мавзолея. Он по привычке каялся: никогда больше не повторится! А у него семь тысяч работников — как уследить?

— Вы знали, что вам очень скоро предстоит почувствовать себя в его шкуре?

— Даже не думал. Перед каким-то Пленумом Горбачев сказал: к тебе есть серьезный разговор. Ну есть так есть. Потом меня пригласил Медведев: «Мы знаем, что в Госкомиздате ты в самом начале пути, но тут надо очень серьезно усилить Гостелерадио, имеющее важное значение, тем более на этом этапе. И у нас есть такое соображение». Я сразу возразил: «Я не люблю и не знаю телевидения». Он продолжал: «Вот такое мнение есть. Оно както обговаривалось на Политбюро, както его поддержал Михаил Сергеевич. Это серьезно». Я настаивал: «Честно говорю: я не хочу. Прошу вас, не делайте этого. Я только освоился, я могу еще много сделать. Там — все с начала. А вам нужен быстрый результат».

— Уговоры кончились?

— Прошла неделя. Вечером звонок: с вами будет говорить Михаил Сергеевич. «С Вадимом Андреевичем была беседа?» — «Была».— «Ну и что?» — «Могу повторить то же самое: не делайте этого. Я только начал, а на телевидении я не верю, что смогу в короткое время...».— «Но это острый, насущный вопрос. Надо решать».— «Еще раз прошу не делать этого».— «Хорошо, давай так. Я тоже тебя прошу. Не настаиваю, но я тебя прошу».

— Больше не было разговоров?

— Встречался с Рыжковым, но тогда уже все подписали. Что со мной было разговаривать? Со мной разговаривали, когда я работал уже на новых местах. Я был человек... которого знали.

— Вы упоминали про свой напряженный рабочий день, вам удавалось до этого хоть изредка смотреть телевизор?

— Иногда информационную программу. Некоторые встречи в Останкине... Книги я очень уважал — мама каждую из них оборачивала в газетку. Слово написанное мне дороже — оно ответственней. А сказанное — только слово. В мае 1988 года я попрощался с Госкомиздатом, сказал: жаль расставаться в самом начале пути...

— Пушкин, вспоминают, повстречал Николая I, гуляя в Царском Селе. Потолковали, и государь был ласков. А Пушкин потом признался знакомой: «Черт возьми, почувствовал подлость во всех жилах!» Бывало?

— Это проходит, раньше примечал в себе робость, неудобство, я боялся показаться нелепым, но после телевидения уже сам черт не страшен. Может, только перед... Горбачевым. В чем-то. Я до сих пор верю в его искренность. Он платит слишком большую цену — власть того не стоит. Человек живет для счастья, для семьи — он так не живет, тогда ради чего? Только идея, вера.

— А вы думаете, у него осталась хоть какая-то вера?

— Да! И я тоже верю в свою страну, пусть она потеряла даже имя и теперь просто — экономическое пространство, я верю!

— Часто встречались с Президентом, возглавляя телевидение?

— Почти еженедельно. Обсуждали, как что подать. Показывал текст выступления: «Я сидел, товарищи сидели, на, теперь ты посмотри свежим глазом». Поводы самые разные. Президенту надо выступить после очередных событий. Посылаешь группу, она работает. Помощник передает: дать в 19.00, очень удобно, все дома. А у меня в программе «ЦСКА» — «Спартак». Помощник спрашивает: а ты соображаешь, что говоришь? Я-то соображаю, а понимаете ли вы: противопоставлять даже так Президента миллионам болельщиков? Ну, тогда звони сам. Не знаю, что там оставалось у Горбачева, но он никогда не упрямился.

— Михаил Федорович, а что бы вы не могли делать?

— Я бы не мог выполнять работу, не требующую мысли. Даже за баснословные деньги.

— Вам предлагали такую работу?

— Мне никогда ничего не предлагали, кроме того, что я делал.

— Телевидение — это задворки журналистики?

— Оно просто другое, интересное, но другое, не ставшее родным. Меня встретили с внимательным равнодушием, но как только я не стал повторять Аксенова, а попытался стать главным редактором — все пошли в штыки. Я попытался определить какие-то общие творческие принципы, но там правят очень странные законы: никакой конкуренции! Монополия. Каждая редакция — это не газета, где шестьдесят человек, это несколько сотен, и это империя. И она не позволит тронуть себя! Только она! Внутри редакции империи программ, которые тоже не потерпят конкурентов,— они будут выходить только так, и только в это время, и только с таким мнением. Еще дальше — империя комментаторов. Когда я работал на Урале, директор театра сказал мне про актеров: «Это, конечно, дети. Но это собачьи дети!» Так и комментаторы. Я много спорил с Молчановым, Познером и убеждал, что глав-

ное — это мысль, а они: нет, имидж, картинка. Я не учел, что на телевидении очень много от кино, от зрительного ряда. Поэтому любой пишущий легко выступит на телевидении, а работник телевидения чаще всего окажется беспомощным на бумаге. Я не хотел быть министром. Перед Егором Яковлевым стоит такая же проблема. Может, у него только побольше времени. Я никогда не читал про себя столько гадостей, как тогда. Кто-то зачем-то написал, что я ставленник Суслова.

— Скажите, а кем был бы Суслов в XIX веке?

— Прекрасным инспектором народного образования. У него имелся святой принцип: делай, как было. Он великолепно вел секретариаты, не больше часа. На сообщение — десять минут. Не уложился — он тут же своим скрипучим голоском: спасибо, спасибо... Докладывают, например, в Сан-Франциско состоится девятый съезд океанографов, поедет столько-то делегатов. Суслов обязательно спросит: а на восьмом как было? Товарищ, уже готовый, докладывает: на восьмом наша делегация была больше, затраты были больше, а докладов меньше. Хорошо, принимается. А другой товарищ говорит: впервые состоится конференция по разоружению. Впервые? Гм, надо подумать. Все, раз «надо подумать», значит — нет. Опытный Ермаш докладывал про кинофестивали и сразу же говорил про затраты: все меньше. И так из года в год. Все уже хихикали в кулаки: сколько ж можно меньше, уже ноль, наверное?

— Сверху на вас давили?

— Президент — в меньшей степени. Больше всего — ЦК. Я не хочу обижать отдел пропаганды — чаще всего обиды возникали на местах: в областях, республиках. Кто чего увидел. Я не предполагал, что меня послали выполнять чью-то волю. Я пытался привести новые силы и обозначить более активно творческое начало. Но я ошибся в том, что мне отпущено время. Руководство хотело слишком быстрых перемен, а я пытался остаться самим собой и не играть в тихие игры: учитывать мнение недоброжелателей наверху, вычислять их и ублажать — в этом отношении я всегда был безоружен. Когда товарищи заходили ко мне в Останкино, я повторял: скажут — можешь вернуться — пешком пойду до Страстного бульвара. Даже машину не вызову.

— Вы пытались как-то объясниться?

— Они не могли понять, что не улучшается жизнь. Я подымался на каждом Пленуме и под освистывание повторял: телевидение не может быть лучше самой жизни. Да, мы ошибаемся с отдельными фактами, да, обижаем отдельных людей. Но отдельные факты! Отдельных людей! Но в целом-то — все как есть! На Совете Министров выступали зампреды: что позволяет себе телевидение, день и ночь эта болтовня и чернуха... Я отвечал: это жизнь. Не я избирал депутатов — народ, не я собирал Верховный Совет, это мы, такие и есть на самом деле. Вы же помните, что было — до четырех утра вся страна смотрела разбирательство комиссии по Гдляну и Иванову, когда каждый валил в кучу все, что хотел. Скажете: ведь это сумасшедший дом?! И я рулевой этого сумасшедшего дома? Ну что ты мог сделать? Ничего ты не мог сделать и всегда оставался заложником, жертвой, мальчиком для битья.

— Вы почувствовали, что пора уходить?

— Я говорил Рыжкову: все, невыносимо. Он подбадривал: потерпи, может, жизнь наладится. Вопрос назревал. Доброхоты с радостью доносили: из отпуска вызван Кравченко, он согласился, указ подписан. Это длилось месяц. Я старался не обращать внимания: будь как будет. О моей судьбе слухов не было. Меня вызвал Горбачев.

— Вы понимали зачем?

— Догадывался.

— Мне трудно представить, как ведутся такие разговоры. Мы тут решили... Посоветовались... Учитывая ваше желание... Как?

— Примерно так, как вы сказали. Я сказал: может, не надо меня возвращать. У нас как-то не принято: обратно. Или вверх, или вниз. Обратно — морально тяжело. Может, мне пойти преподавать... Горбачев не согласился: «Предстоят трудные времена, и надо, чтобы все, кто начинал в 1985-м, остались в строю». Может, он и прав. Да и поручение было серьезным: преобразовать Госкомпечать в Министерство информации и пропаганды. Президент говорил: абсолютное доверие к тебе, тут нет никакого вопроса, я не хочу, чтобы ты... это воспринял как...

— Сколько длилась встреча?

— Минут тридцать.

— Вам никогда не хотелось завести собаку?

— Хотелось, но жаль ее в городе держать. Понимаете, собака — выражение какой-то немыслимой преданности. Она не может предать. Хотя, говорят, сейчас на окраинах появились целые своры одичавших собак. Они злее волков.

— Как прошел последний день на Гостелерадио?

— Необычнее всех. Вечером, перед программой «Время», приехал Рыжков. Прочитал указы. Кравченко сказал, что рад встрече. Мне было неловко долго говорить. Поблагодарил за терпение и поддержку. И произнес такую фразу, которая ничего не говорила, но так... меня утешала. И присутствующих. Я сказал: я не переоцениваю то, что сделал, но считаю себя вправе сказать: это было больше, чем я мог, но меньше, чем хотел. Потом в моем кабинете попили чай втроем. Дома первый раз смену работы отмечали как праздник, семья была счастлива.

— А вы?

— Меня считали консерватором. Когда пришел Кравченко, я стал леветь. Время всех расставит. Во всяком случае, все, кто выступал против меня, через год нашли возможность увидеть меня и извиниться, признав, что были не правы.

— О чем вы сегодня мечтаете?

— Мне 62 года. Внуку Даниле шесть с половиной. Он должен знать все, что я знаю, и стоять на земле крепче меня.

— Вы не хотели вернуться в газету?

— Слухи ходили даже о «Правде» и накануне телевидения. Я бы с радостью. Если бы вопрос стоял так же остро...

— Не принято самому попроситься?

— Не принято. А жаль.

— А какую бы вы хотели выпускать газету?

— Без политики.

— Вы сказали, что сейчас ощутили свою невостребованность. О вас забыли?

— Меня утвердили в числе последних — сорок шестым. Я ждал с ноября по июль. Единственное, что утешило, что уважаемого мной Ягодина — еще позже. Я раз шесть писал Павлову — он меня не принял ни разу. Пытался звонить — он очень занят. А вопросы были отчаянные. Развалилась система международной информации. Все страны дотируют покупку книг, журналов, газет. Мы почему-то перевели все это на самоокупаемость — все рухнуло. Лопнуло огромное количество контрактов. Мы банкроты. Дело доходит до Международного суда, наш долг достигает 17 миллионов долларов.

— Министерство вы решились распустить потому, что развалилась страна?

— Не только. Я понял, что не будет принято подготовленное нами положение о министерстве и мы не сможем влиять на финансовую политику и не будем иметь базу, чтобы помогать. Мне предлагают только пять миллионов на содержание чиновников. Я не смогу ни поддержать, ни защитить. Стыдно быть таким министерством. Мы не плачем, как все,— дайте! Просим одно: берите с нас поменьше. Наша отрасль — мои слова прозвучат фантастично — до сих пор выполняет план. Ежегодный товарооборот — почти девять миллиардов. С нас дерут 55% от прибыли. Больше прибыли только от продажи алкоголя. Я не хочу видеть, как все развалится совсем — мое министерство не нужно.

— Вас никогда не угнетало, что, пока вы в кресле, вам улыбаются и кланяются, как только уходите, вы для большинства — никто?

— Моя семья меня не предаст. Мы все выросли на Урале, и нам очень много дала моя мама, эта маленькая женщина, которую я похоронил. Когда заказывали... гроб, я вдруг узнал ее рост, метр сорок всего, как она управлялась принимать летом всех внуков и детей, готовить, провожать чуть свет корову...

— Вы хоронили ее без... участия церкви?

— Без.

— Вы понимаете, что вы вершина своего рода?

— Я мало об этом думал. В нашей деревне среднюю школу закончили два человека. На нас пальцем показывали. Сейчас ты можешь быть профессором — это никого не тронет. Я был единственный, кто окончил институт, один, кто поехал в аспирантуру в Ленинград. Мои деды — казаки, урядник и вахмистр, станицы кругом назывались Порт-Артур, Варна, Лейпциг, Париж. Я не хотел повторить путь своего отца. Его отпустили в 1937-м из тюрьмы, но братья его в ней остались. И он всю жизнь нес на своих плечах ответственность за три семьи, молча, он мне ничего не рассказывал. Он мог себе позволить лишь одно желание — выжить.

— А что же завтра?

— Хочу создать небольшой книгоиздательский фонд на коммерческой основе и начать умно, энергично зарабатывать деньги. Я уверен, что за год мы заработаем сто миллионов и они пойдут на детские книги, научные, на классику. Я больше не хочу никем руководить. Я хочу быть свободным...

— Вы думаете, у вас получится?

— Ну почему нет? Были же Сытин, Сабашниковы! Неужели мы измельчали? Или у нас меньше боли за Отечество?

— Михаил Федорович, а вы не боитесь, что на свободе, в новом, жестоком, диком мире вас очень быстро предадут, обгонят и отбросят за ненужностью зубастые, рукастые, оборотистые ребятки?

Но это я вру. Этот вопрос я не задал.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПРОРАБОВ

Я бы еще хотел добавить пару слов для прорабов, которые вроде бы уже не «перестройки», но как всегда — прорабы, и машут руками. Я бы хотел, чтоб не канул незаметно мой герой, чтоб заглянули мы в опущенное лицо уходящего человека — он брат наш, он лучше многих. Мы прощаем казнокрадов, терпим лгунов, внимаем больным, хлопаем самозванцам, дарим свою беззаветную веру тем, кто ее ничем не оправдал, но забываем поклониться безусловно достойному человеку лишь только потому, что он из другого времени, а времена развелись, как мосты.

Память народная, она не только склад достоинств лучших — это табличка, по которой определяется нравственная зоркость народа. Пока мы видим по-советски: дальнозорко и обобщенно, неразборчиво и должное отдаем реабилитациям, скопом, по эпохам. Проводим как бы чистки наоборот. Вот сейчас признаем, что до 1917 года хватало хороших людей. А сколько ждать людям, на которых мы сейчас топчемся?

Мой герой — заложник, его замуровывали в стены, закладывали закладкой в пыльные книги, закладывали в сани и погоняли, загоняли в кабалу. Но на таких, как он, закладывались нынешние церкви. Когда мы научимся отдавать должное людям, глядя в глаза, а не в партийный стаж, графу национальности, послужной список и списки друзей, выдвигая себя лишь тем, что родились попозже или жили потише?

Ведь не большая доблесть жечь костры на свету, а вот светить звездочкой, чуть видной среди ночи кромешной, не хапая и не обжираясь свежатинкой. Ведь весна начинается не пьяным маем, когда все цветет и пахнет, а в феврале, когда в черных, заледеневших ветвях, под мертвой корой, ночью под стужей, а все же теплится, копится, течет, не сдается.

Ненашеву ничего не надо. Он все про себя знает. Просто настанет день, и вас, милые прорабы, отодвинут в сторону спокойно и равнодушно, проводят пинком и плевком, и забвением, цветочка не подарят, спасибо не скажут, вытолкают взашей — и уже выталкивают, и удерживает от жалости лишь одно: то, как вы махали руками эти славные годы, скольким людям били морды ради красного словца, скольких явных подонков терпели и терпим из четкого расчета. Я хочу научиться и вас жалеть, уважать, увидеть.

Но для этого начать надо с Ненашева.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

СЫТИН Иван Дмитриевич, из крестьян Костромской губернии. В 1876 году в возрасте 25 лет начал издательскую деятельность. Издавал знаменитую «Библиотеку для самообразования», «Детскую энциклопедию», «Военную энциклопедию», большим тиражом дешевые издания Гоголя, Пушкина, Толстого, Чехова, журналы «Нива», «Вокруг света», газету «Русское слово». Имел 16 магазинов и две лучшие типографии, годовой оборот — 18 млн. рублей. Издавал четверть книг России. Все национализировано. От Советской власти получил пенсию и ленинское напутствие: «Живи, где ты жил, мы тебя не тронем».

САБАШНИКОВ Михаил Васильевич, из золотопромышленников и чаеторговцев Сибири. Первую книгу задумал вместе с братом в 17 лет. В 1891 году основали с просветительскими целями издательство. В частности, выпустили «Жизнь растения» К. Тимирязева, «Памятники мировой литературы», «Теорию относительности А. Эйнштейна и новое миропонимание», «Пушкинскую библиотеку». Всего около 600 наименований, тиражом в 1,5 млн. экземпляров. В 1930 году издательство закрыто. Михаил Сабашников доработал редактором в артели наглядных пособий и общеобразовательных игр. На могильном камне написано: «Михаил Сабашников. Издатель».

НЕНАШЕВ Михаил Федорович, из семьи служащих, уроженец Челябинской области. Издательской деятельностью занялся после Советской власти в 1992 году в возрасте 62 лет...

«...там смешал Господь язык всей земли»
(Бытие, 11:9)

Перестав понимать друг друга, строители Вавилонской башни разбрелись по свету — тогда, наверное, и возникла профессия переводчика, смысл которой: вернуть людям утраченное чувство общности.

Эта рубрика будет знакомить вас с новинками переводной поэзии. Открывается она стихами Алена Боске, французского поэта, творчество которого по праву занимает видное место в современной европейской литературе. Морис Ваксмахер, Григорий Кружков и Михаил Кудинов перевели стихотворения из разных книг Боске. Думается, что читатели сами определят для себя победителя этого своеобразного поэтического «турнира»...

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

ЭТОТ БЕРЕГ — БЕДА...

Ален БОСКЕ
Из книги «ТРЕВОГИ ГОСПОДА БОГА»

«Однажды, когда я в себе сомневался,—
говорит Бог,—
я зашел к своему другу Шекспиру,
потом на квартиру отправился к Рембрандту —
весь покрытый морщинами, он перед зеркалом
писал свой портрет.
Прежде чем воротиться к себе, в мое зыбкое
царство,
заглянул я к мальчику Моцарту
и подарил ему новенький клавесин.
Трех этих визитов мне оказалось достаточно,
чтоб хотя бы чуть-чуть
примириться с собой».

* * *

«Мне очень грустно,— говорит Бог,—
оттого, что я взрослым родился.
У меня так и не было детства,
и мне никто не позволил открыть
уже созданный мир.
Я не нашел никого,
кому я мог бы сказать:
«Добрый день, мой отец»
или: «Как, маменька, ваше здоровье?»
Во мне очень мало детского простодушия.
Лава, кремень, мошкара,
зефир, человек, пион —
каждый требовал, чтобы с первой минуты был
я ответственным и активным.
Мне очень грустно:
у меня никакого прошлого нет».

* * *

«Если при имени «бог» у вас начинается
приступ крапивницы,— говорит Бог,—
зовите меня алебастром, ласточкой или
ручьем —
я буду знать, что речь идет обо мне.
Если от имени «бог» вам становится худо,
изобретите взамен другое какое-то слово,
что-нибудь вроде «легкого вздоха», «росы»
или «ужаса небытия».
Меня оскорбить невозможно:
все на свете слова — синонимы для меня».

Перевод Мориса ВАКСМАХЕРА

Из «КНИГИ СОМНЕНИЯ И БЛАГОДАТИ»

ПЛОТ

«Этот берег — беда,
а другой берег — счастье.
Этот берег — тоска,
а другой берег — праздник».
Он своими руками не спеша строит плот,
переплывает поток
и говорит «добрый вечер»
простодушной луне.
Десять лет и еще двадцать лет
он несет на плече этот плот,
расставляя на нем, одну за другой, фигурки
богов.
Таково воздаянье его души,
такова его благодарности дань.
Но на склоне дней,
созерцая луну
и вечерний поток,
он говорит:
«Этот берег — беда,
а на том было счастье.
Этот берег — тоска,
а на том была воля».
И он отпускает по теченью свой плот,
и топит своих богов.

ПАМЯТЬ

Надо бы, как муравья,
лезущего вверх неутомимо,
надо бы, как черный океан,
бьющийся о скалы
со всего размаха,
надо бы, как холм высокий,
отворенный для богов,
затворенный для коварных бесов,
надо бы, как слово,
закипающее в горстке пены
на краю крыла скользящей птицы,
неуклюжей и тяжелой,
надо бы, как легкую пыльцу
или этот странствующий парус,
или эту ветку в старых шрамах,
в узелках отсохших почек,
надо бы, как смутную зарю,
что сквозь сон моргает, точно кошка —
вкрадчиво и томно,
надо бы, как солнце запасное
для минувших дней,
для ночей печально-неумелых,
надо бы, как дремлющий инстинкт
в этом заскорузлом камне,
надо бы, как неизбежность
на краю зрачка,
на горизонте,
надо бы, как жар бесконстный и бесплотный,
жар без тела,
надо бы для лучшей, высшей жизни
выдумать такую штуку —
память.

Перевод Григория КРУЖКОВА

Из книги «ПАЛАЧИ И АКРОБАТЫ»

Ты ищешь жертву,
ищешь палача;
напрасный труд,
все — жертвы обстоятельств.
Рабы,
герои,
те, кто рвался к власти,
признаться честно,
к ним ты равнодушен;
и только в тайниках своей души
ты ищешь сходства с ними
и находишь.

* * *

Женщина в переулке... Ты спросил у нее:
«Не в вас ли был я влюблен
в начале прошлого века?
Экзотичное дерево, кажется, нас осеняло».
Бог в часовне... Ты спросил у него:
«До начала поэзии, прозы
это в вас я так верил?
В то время кормил я с ладони пеструю птицу».
И себя самого ты спросил:
«Почему ты детство покинул?
Почему превратился
в слишком взрослого человека
из гранита и грязи?»

* * *

В отеле, далеко не первоклассном,
ты познакомился с каким-то господином...
Аперитив вы заказали, а потом
он рассказал тебе об океане,
о рощах, где водилось много дичи,
и о любви, которую когда-то
он пережил, а после потерял.
И в довершение прочел стихотворенье,
тобой написанное.
Как тут поступить?
Поздравить ли его,
что двойника обрел он?
Разозлиться?
Вы подружились.
Случай свел двоих
стареющих мужчин,
которые один и тот же текст писали,
хотя порой и в разных вариантах.

Перевод Михаила КУДИНОВА

Юрий НАГИБИН

ЛЮБИМЫЙ УЧЕНИК

РАССКАЗ

Как полагается, в преданиях все это обрело притчевый лад, стало наглядным уроком смирения. Иначе и быть не могло. Каждый его жест, каждое слово были перетолкованы в поучение, что не лишено основания. Он не мог растрачиваться на свободную игру чувств, слишком мало времени было ему отпущено, пойди вырасти урожай новой веры на каменистой, сухой, неплодной почве дремучих душ. Но сейчас было другое, ему хотелось прикоснуться к человеческой плоти, в близости страшного исхода ему стало ясно, как мало телесного было в его жизни.

Сильно и нежно помнились ему ласковые крепкие руки и круглые колени матери. Смутно, то ли истинным детским воспоминанием, то ли мнимой, навязанной ему окружающими памятью виделся единственный товарищ его ранних лет, брат в каком-то колене Иоанн, серьезный, красивый и печальный, немного старше его. Неужели он провидел свою судьбу, что голова его с закатившимися глазами будет подана на золотом блюде блудной Иродиаде? Наверное, так подробно он этого не знал, но знал, что будет страшное, и потому никогда не улыбался, тихий, сосредоточенный в себе, приветливый мальчик. Но ведь и ты никогда не улыбался, потому что тоже знал, что в конце будет страшное. Блаженны неведающие... Как скромны и тихи были их редкие игры. Они не возились, не боролись, не барахтались, как все мальчишки, Иоанн что-то искал в траве, потом приносил цветочек, и вы молча внимательно его рассматривали. И ты в свой черед находил камушек или мертвую бабочку и нес находку другу. И снова шло безмолвное, задумчивое созерцание. Вы не знали названий этих цветов, травинок, насекомых, но почему-то не спрашивали своих матерей — Марию и Елизавету об именах малых мира сего. Лишь раз попался цветок, напоминающий формой крест, ты видел такой в руках у матери, когда еще не умел ни ходить, ни говорить и жил у нее на коленях. Слово «крест» входило в название, но ты не вспомнил.

Мать поздно спустила его с рук на землю, словно боялась, что он уйдет и потеряется. Он и ушел в свой час, без сожаления и печали, как уходил от всех ради ждущих впереди. Лишь тем двенадцати, которым он сегодня вымоет ноги, позволено было следовать за ним. Одних он сам позвал, другие напросились в спутники, третьи были ему вверены.

А с Иоанном они встретились через много лет, когда тот стал рослым, стройным мужчиной с прекрасной лохматой головой; его крупное тело было закутано в плащ из грубой верблюжьей шерсти, дыхание отдавало диким медом и травами, он проповедовал людям о скором приходе Мессии и крестил их в Иордани. Иисус пришел к нему из Галилеи принять святое крещение. Что-то отстраняюще щепетильное было в смирении, склоненности Иоанна перед ним, и это пресекло возможность доверительного тона старой дружбы. Пришлось удовольствоваться негреющим жаром встречи Мессии и его пророка.

Мысль соскользнула с Иоанна, Иисус вспомнил сестер Марфу и Марию, в чьем доме он находил приют. Они омывали его усталые ноги, мазали мирром голову. Особенно приятны были прикосновения легких, внимательных, никуда не спешащих рук Марии. А Марфа, всего не успевавшая по домашности, вечно хлопотунья, омывала ноги, будто миску споласкивала после еды.

Другая женщина, тоже именем Мария, омыла ему ноги слезами и вытерла своими пышными мягкими рыжими волосами. Она была блудницей среди людей, но что ему до этого? Раз на дороге она припала к его ногам, он наклонился и тронул ее за плечо, и в этот миг забыл себя и свое предназначение. Хотелось зарыться в ее рыжие, с бронзовым отливом волосы и остаться там навсегда.

Сам он редко касался человечьей плоти, разве что исцеляя прокаженных, изъязвленных, паралитичных, бесноватых или оживляя трупы, но физической радости эти прикосновения не доставляли.

Телесность жизни — вот чем он был обойден. Одинокие странствия по каменистой пустыне и пыльным дорогам, удаления от мира, мучительные искусы, проповеди и поучения, бездомность — лисицы имуть норы, птицы небесные — гнезда, а Сыну Человеческому негде приклонить голову,— все это уводило от густого человечьего тепла в стылую пустоту бестелесности. Он трогал жизнь не перстами, а словом. И как прекрасно было, когда вдруг, устав от бессилия взываний, он схватил плеть и отхлестал торгашей, раскинувшихся в храме со своими товарами, выгнав их вон. Хорошо погуляла треххвостка по жирным спинам и плечам.

И чудесно вспомнить, как на белой ослице он спускался с Иерихонской кручи после сорокадневного искуса, легкий, словно бы хмельной от голода, ободравшего его плоть до тонины осеннего листа. Он сидел, сильно откинувшись назад, иначе ослица повалилась бы с отвесной кручи, по которой извивалась узенькая тропка. Порой казалось, что он пребывает в свободном падении — парении, и это оборачивалось предчувствием будущей невесомости, а ему хотелось совсем иного — тяжести плоти. И он обрадовался, когда в изножии склон стал менее крут, а там и вовсе — пологим, тропка расширилась, и в правую ногу ему заколотился лопаткой сынок ослицы, трусивший на круче сзади. Иногда он тыкался в него мягким носом, и радостно было слияние с плотью жизни.

Он уже знал, что в небесном чертоге Отца ему будет скучно без грубой, плотной, пахучей, пестрой земной круговерти с кучей ненужных забот и дел, порочной, низкой, отвращающей персть земную от милостиво простертых Божьих рук — да ведь после сладимой родниковой воды хочется иной раз ожечь гортань глотком пряного, хмельного вина. И сейчас он жалел, что так мало пил из этой чаши.

До чего же, наверное, страшно, душно и захватывающе постоянно пребывать в обхвате этой жизни, сквозь которую он проходил, как солнечный луч сквозь воздух.

Я ведь так мало знаю о той обычной жизни, которой живут простые люди, а не пророки, думал Иисус. Я не знаю названий многих деревьев, цветов, трав, камней, мелких животных, снующих в траве и песке, я даже не знаю, как называются иные предметы, служащие для домашней пользы, ремесла, забав. Я затрудняюсь порой на обычных словах, и обо мне пустили слух, что я косноязычен. Я слишком рано задумался над тем, что непричастно дневной заботе, и тут у меня достаточно слов, а если вдруг не хватало, я создавал нужные слова сам, и люди, слушавшие меня, понимали их, будто всегда знали, лишь не желавшие слышать делали вид, что не понимают. И я слишком рано прозрел участь, мне уготованную, и ужаснулся. Нет, я сам уготовил ее себе, пожалев людей и дав этой жалости превзойти любовь к себе единственному, на чем стоит мир людей. Господь, создав меня своим хотением, предоставил мне право выбора. Я мог остаться одним из пророков, еще одним предтечей, но я принял на себя ношу и стал сыном Предвечного. Я не был обречен на свой путь, Вифлеемская звезда сияла не мне, я даже не видел ее из вертепа своими мутными, опрокинутыми глазами. Она была звездой надежды. Все делается произволением Божьим, но мне дана была свобода. Я выбрал крест, не обманув Небесного Отца. Но пока еще и я Сын Человеческий, и чувства во мне человеческие, иначе я не мог бы исполнить того, к чему призван. И страдания мне предстоят человеческие, и они страшат меня, и опамятование в славе и бестелесности не довлеет моей душе.

...Иисус взял в руки стопу Иоанна, «которого Он любил», с трогательной и наивной настойчивостью будет повторять Евангелист, вспоминая свои дни с Христом. А потомки перетолкуют в «любимейшего». Верно ли это? Он, правда, очень любил Иоанна и дал ему место возле себя, как и брату его Иакову Зеведееву. О том просила Иисуса их мать, доверяя ему своих сыновей. Он отчитал тщеславную женщину мгновенно родившейся притчей, но по какой-то слабости выполнил ее просьбу. А ведь одесную от него надлежало бы сидеть Петру — камню, на котором он оснует свою церковь, Петру — будущему первосвященнику, хранителю райских врат.

Иоанн был одним из самых любимых, он старался всех любить одинаково, но даже ему это не удавалось. Иоанн был ласков, как женщина. Он все стремился склонить голову на плечо, на грудь Учителя, приятно щекотали шею его волнистые мягкие волосы той же бронзовой рыжины, что у Марии Магдалины. Остальные ученики не решались прикасаться к Учителю, даже горячий, порывистый, не умеющий сдерживать своих движений Петр. Ласковость, любовь, нежность были сущностью Иоанновой души, и невероятно, что этой женственной натуре суждено исторгнуть из себя самые ужасные, неистовые, опаляющие ум слова, какие только слетали когда-либо с человеческого языка, слова его Откровения. Величайшим словослагателем и бесстрашным провидцем окажется этот кроткий человек с легким пушком на округлых девических ланитах. Ему выпадет самая счастливая и долгая жизнь из всех апостолов, если может быть счастлив человек, увидевший внутренним взором коня бледного и семь Ангелов с семью язвами, в коих изойдет ярость Божия. Он узнает бичевание, но его минует мученическая смерть. Его преклонные дни закатятся среди свято почитающих его единоверцев, которым он, совсем уже дряхлый, будет настойчиво повторять: дети, любите друг друга. Они спросят его, зачем он постоянно твердит одно и то же. И он ответит: это заповедь Господа, и если соблюдете ее, то и довольно.

Нога Иоанна была под стать всему его телесному составу: стройная, с узкой стопой и длинными пальцами, какая-то незахоженная, будто не прошел он следом за Учителем столько каменистых дорог. Иисус с удовольствием обмыл ему ноги и вытер полотенцем из сурового полотна. «Спасибо, равви»,— с красным от смущения лицом проговорил Иоанн и отошел, так бережно ставя ноги, будто опасался за свои отныне драгоценные конечности.

Он вымыл ноги Иакову. Тот слушал проповеди Иоанна Крестителя и без колебаний пошел за Иисусом, когда он позвал его. Это было в характере Иакова: он пойдет как угодно далеко, если его подтолкнуть, и остановится, лишь когда его удержат. Приверженность таких людей особенно ценна, она словно гарантия истинности твоего дела. Иаков глубоко чувствующий человек, но не чувствительный, как его брат. Его чувства проверяются разумом. Он был бы достойным наследником своего отца — зажиточного рыбака, владельца самых больших коптилен в поселке, но слова Предтечи разбудили в нем другое сердце. И все же он не стал искать того, о ком тот вещал, он ловил рыбу, на редкость удачливо. Он был из тех счастливых рыбаков, что имеют легкую руку на рыбу. А в должный час мать взяла его за руку и вместе с младшим сыном вручила Иисусу. Общее семейное сердце Зеведеевых уже открылось той новой вере, которую предрекал Креститель.

Иисус омыл ему ноги, хорошие, надежные, ухоженные ноги человека, знающего себе цену и внимательного к своему телу. Не вяжется с основательным, прочным, осмотрительным Иаковом ожидающая его насильственная смерть от руки Ирода Агриппы.

С тазом воды подошел Андрей, славный, милый Андрей. Он принял крещение от Иоанна и раньше брата своего Петра пошел за Иисусом, потому и прозвище ему будет Первозванный. Он понесет слово Божье в самые темные и страшные пределы земли: к скифам и севернее, к угрюмым племенам,

Джотто. ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ. Фреска Капеллы Арена в Падуе.

обитающим в дремучих лесах, на берегах широких холодных рек. Редко раскиданные по лесной и полевой бескрайней пустынности и оттого подозрительные, пугливые и жестокие, они не убьют Андрея, как предсказывали свирепые, но все же более человечные скифы. Терпеливо и недоверчиво будут слушать наставления апостола, иные с кривой усмешкой примут от него святое крещение и отпустят с миром. А мученическую смерть на косом кресте примет Андрей на греческом острове Патросе по воле римского проконсула Энея. Хуже северных варваров окажутся просвещенные римляне для несущего слово Божье. Что стоит просвещение, если сердце глухо к Главному Слову?

Андрей станет покровителем той страны, что возникнет на месте обитания навещенных им диких племен. И флаг, и высшая награда страны станут андреевскими — ни один из тех, кто пошел за Сыном Человеческим, не удостоился подобной мирской почести. Но не уберег косой андреевский крест этот народ, оставшийся в глубине своей таким же темным, диким, кровожадным, как во дни прихода Первозванного. И построят они на своих просторах царство тьмы, второй ад, не скрытый в земном провале, а раскинувшийся бесстыдно, как блудница на ложе, меж двух океанов. Появятся там поддельные пророки, чудотворцы волею Сатаны. Христос накормил двумя рыбами и пятью хлебами пять тысяч человек, эти будут кормить тем же количеством пищи, не преумножающейся тайно, трехсотмиллионный народ, порождая глад и мор. А один лжечудотворец превратит все вино в воду, иссушит, изломает, изведет лозу, кою воспитывали бессчетные поколения виноградарей, дабы обратила она вложенный в нее заботливый нежный труд в благодатный сок. И подведет он смятенный народ, утративший свое исконное веселие, возносившее его дух горе, под власть Змея-Полоза, подручного Сатаны, по чьему хотению соблазнил он прародительницу Еву и лишил человека рая...

Иисус долго поливал водой молодые ноги Варфоломея; под тонкой кожей расходились голубые жилки, и так страшно было представить себе, что эту кожу сдерет с живого человека разъяренная чернь у стен Иерусалима. Первой жертвой в христианстве будет этот оставшийся неизвестным миру юноша; благодарное, но не сведущее потомство подарит ему великие духовные подвиги в Индии, а неблагодарное — откажет в существовании, заменив его Нафанаилом, о котором Иисус обмолвился раз добрым словом.

Иисус не знал прежде, что человеческие ноги столь же разнообразны и выразительны, как лицо и руки, что в них тоже отражается характер. Когда босые ноги купаются в дорожной пыли, кажется, что все они одинаковы, а они разные, совсем разные,— как щедр Господь в зиждительстве своем, никогда не повторяющем уже бывшее, в его мире нет копий, все сотворено наново.

Сейчас он вытирал ноги Иакову Алфееву, подобные врытым в землю столбам, так же прочен, прям, неуклонен был суровый характер апостола, двоюродного его брата, ставшего первым епископом Иерусалимским. А у младшего Алфеева — Фаддея, скромного, стремящегося затениться, ноги были тонки и сухи, как у оленя. А вот «разношенные», неухоженные ноги Матфея, бывшего мытаря, немало намытарившегося по земле; небольшие беспокойные ступни Фомы — любопытного, недоверчивого — вот и сейчас посмотрел, чисто ли моет. «Ты и в раны мои персты вложишь, Фома-неверующий»,— укорил Иисус. Трудно поверить, что этот пронырливый человек, которому надо все своими руками потрогать, станет одним из самых твердых и бесстрашных проводников его Слова, которое он понесет в огнедышащие аравийские пустыни.

Дошла очередь и до култышек — иначе не скажешь — Петра: коротких, гнутых, без щиколоток. Можно подумать, что Петр ходил другими дорогами, нежели его товарищи. У тех ноги странников, у него — страстотерпца: сбитые, порезанные, в мозолях и синяках. Всегда в горении — нетерпелив, страстен, как собака, поджимающая хвост в миг опасности, равно способный к мгновенному геройству и позорному испугу, настолько богатый чувствами, что хватило бы на всех апостолов и еще осталось — вот уж воистину: ничто человеческое не чуждо. Потому и решил основать на нем свою церковь Иисус. Она будет, как он, самоотверженна, как он, нестойка, как он, цельна, как он, сумбурна, как он, способна на мученичество: распятый головой вниз, он явит то великое мужество, какого ему не хватало в менее грозных скрутах судьбы, слезливая и неуклонная, как он, любящая и яростная и способная к радости. Если б камню и впрямь быть плотью церкви, то ставить ее надобно на Иакове Алфееве — это кремень. Но он ставил человеческую церковь, и этот горячий, кипящий, наивный делатель годился больше всех, чтобы церковь была для человека, слабого, грешного, исполненного стольких противоречивых задатков, но тянущегося ввысь — к раскаянию и правде.

И вот перед ним смуглые, опрятные, будто не пристает к ним дорожная пыль, ноги Иуды. Он чем-то взволнован, Иисус уже научился угадывать чувства учеников по ногам, не заглядывая в лица. Небось опять взял деньги из общей казны, хранителем которой поставили бывшего мытаря. Взял, чтобы отдать какому-нибудь попрошайке. Апостольский казначей знал счет денежке, но был жалостлив и доверчив: не мог отказать в подаянии, особенно тем ловкачам, что так хорошо прикидываются несчастнейшими из несчастных. Они выглядят куда убедительнее истинно неимущих, потому что лишены стыдливой гордости бедняков. С какой охотой обнажают они искусно наведенные язвы. А много ли надо такому доброму, мягче воска человеку, как Иуда, у которого не глаза, а сердце на мокром месте. Собственных денег у Иуды почти не водилось, и он запускал руку в общую скудную казну. Все это знали, но молчали, уважая его безоружную доброту.

Но сильнее стыда, тревоги, страха разоблачения была изливающаяся на Иисуса любовь. Иуда любил его сильнее, чем Петр, Андрей, Иаков, даже сильнее, чем Иоанн. Иисус ладонями чуял то замирающее наслаждение, какое доставляли Иуде прикосновения Учителя, его забота и ласка. Он даже перестал мучиться из-за похищенных грошей, не для своей же сласти он их взял. Как-нибудь заработает и вернет в кассу или у заможных друзей попросит. Но Учитель моет ему ноги и делает это так старательно и серьезно, что внутри него заходили волны умиления, душа стала влажной. Иуда боялся расплакаться. Иисус услышал взволнованное сердце Иуды через жилку на подъеме ступни, и, похоже, в этот миг уже созревшее решение стало окончательным. Он сможет, сказалось в нем. И еще он подумал: вот судьба тех, кто слишком сильно любит.

Как всегда последним подошел к нему Симон Кананит, был он почтенных лет, но еще скромнее Фаддея, хотя никому не уступал спокойным умом, глубокой, преданной душой; его неподдельное смирение благотворно действовало на климат маленькой общины, умеряя любую заносчивость.

Опорожнив таз и вымыв руки, Иисус дал знак, чтобы готовили пасху, а сам отозвал Иуду в покойчик близ трапезной. Они собрались для вечери в поместительном доме юного прозелита Марка. Сам хозяин не принадлежал к избранным ученикам и потому отсутствовал. За высоким окошком дотлевала вечерняя апрельская заря. Они встали в ее печальный, изнемогающий свет. Иисус сказал:

— Завтра свершится предсказанное пророком: один из вас предаст меня.

Иуда вскинул кудлатую голову, похожую на голову большого доброго пса. Иисус понял то, что перелилось в его зрачках: казначей ждал разговора о взятых в кассе деньгах, а Учитель позвал совсем для другого, чего он не мог сразу ухватить.

Христос повторил сказанное. Он не раз заговаривал с учениками о ждущем его конце, правда, темными для простого разума словами пророков.

— Начальники жизни убьют меня. Я умру на кресте, искупив грехи человеческие. Да сбудется воля Божья.

— Но... так скоро?..— донеслось из-за края света. Он понял.

— В назначенный срок я воскресну и вознесусь к престолу Всевышнего. Так будет. Готов ты стать орудием Воли Божьей?

— Я люблю тебя,— снова дуновением.

— Поэтому ты избран.

— Но сам ты любишь Иоанна.
Он ревнует, подумал Иисус.
— Я люблю вас всех. Иоанн ласков и нежен, брат его Иаков скуп в чувстве, но я люблю его не меньше. Петр резок, порывист, порой груб, но дорог мне и за его слабости, и за его достоинства. А могу ли не любить я брата моего Иакова-меньшого или Первозванного, или доброго ворчуна Матфея, или тишайшего Симона? И так я могу сказать о каждом. Но ты станешь наособь, ближе всех ко мне, ибо возлюбишь меня сильнее жизни, чести и души спасения.
— Значит, и душа моя погибнет?
Иисус наклонил голову. Он мог бы дать ему утешение: до страшного суда. Когда все грешники, равно ханжи и лицемеры, что пакостили лишь в помыслах, боясь живого греха, будут низринуты в огненную печь, я возьму тебя за руки и отведу к Престолу Отца моего. Но сейчас я не дам тебе даже такой надежды. Коли откроются смертным помыслы Божьи, вера станет сделкой. Должно всему свершиться по воле Отца моего, но свободным хотением, ибо свободным зрит он человека, движимого верой, а не расчетом на милость и страхом перед карой. Обреки себя на свой страшный подвиг, Иуда, обреки без надежды, и ты станешь выше меня, ибо я знаю, что, пройдя сквозь муки, позор и смерть, восстану в славе и силе, знаю — трепещу. Меня ждет место одесную Отца моего, а я маюсь, дрожу, мокну холодным потом, мой рассудок мутится от страха, каково же будет тебе, обреченному на муки вечные и вечный позор в памяти людей? Но ты решишься, и я пойму, почему Господь не отказывается от человека при всей его мерзости и для чего моя смерть на кресте.
— Я сделаю, как ты говоришь, Господи.
Он не сказал «Учитель», он сказал «Господи» — ему открылось, он сделает.
Иисус почувствовал, что ему стыдно смотреть в глаза Иуде. Но он пересилил себя и взглянул. Никогда, никогда не видел он такого бледного, такого бедного лица. Он едва не дрогнул: успокойся, брат, я хотел испытать тебя. Ты выдержал испытание. Спокойно ложись к пасхальному столу. Все будет, как предсказано пророками. Без тебя. И знай, Иуда, ты всегда в моем сердце.
Но он ничего не сказал. Его кроткий и беспощадный взгляд спокойно отторг последнюю — молчаливую — мольбу Иуды.
— Боже,— дрожащим голосом проговорил Иуда,— подари мне одно: дай целованием уст предать тебя врагам.
— Будь посему,— сказал Иисус.— Но это последняя твоя просьба.
И совершил он пасху с учениками своими. Пили сладкое пасхальное вино, ели легкую пасхальную пищу. И он сказал ученикам, что один из них предаст его. Они опечалились и, не переставая жевать, стали наперебой спрашивать:
— Не я ли, равви?
Он сказал:
— Опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы ему не родиться.
Он опустил руку в блюдо с вареным, крупно нарезанным карпом и стал нашаривать кусок. Иуда не протянул своей руки. Иисус уставил взор на его полуопущенные веки. Палец его укололся об острую кость. Иуда долго крепился, не подымая век, но не выдержал и полыхнул на Учителя смятенно-синим взглядом.
— Не я ли, равви? — запинаясь, спросил Иуда.
— Ты сказал,— ответил Иисус и поднес ко рту кусок разваренной рыбы, розовый от крови из его пальца.
Он так и не понял, почему ученики никак не отозвались на сказанное. Когда он только произнес слово о предательстве, Петр схватился за нож. Иисус следил, чтобы перехватить его руку, если он обратит оружие против предателя. Но Петр спокойно переложил нож в руке и отрезал себе козьего сыра. Они и раньше не всегда его понимали, поскольку он говорил притчами, обиняками — лишь такие речи осиливают время и остаются в памяти потомков, но для их простых умов даже прямое слово не всегда было доходчиво. Нередко они принимали за околичность напрямую выраженную суть. Возможно, и сейчас они полагали какой-то второй смысл за его словами, который был недоступен их усталому и затуманенному вином рассудку. Придет для них пора, когда все туманности и затуманности опрозрачнеют и сольются в единую завершенную картину. Иисус не стал им ничего пояснять. Так лучше, пусть Иуда на равных проведет со всеми эту последнюю вечерю.
Он взял опреснок, благословив, переломил и раздал ученикам. Никто не удивился, что Иуда получил свой кусок.
— Ядите,— сказал Иисус,— сие тело мое.
Они послушно принялись жевать хлеб.
Он взял чашу с вином и протянул ученикам.
— Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
Они отпивали поочередно, Иуда тоже сделал глоток, следующий в череду не побрезговал чашей после него.
— Сказываю вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами Новое вино в Царстве Отца моего.
И снова ему показалось, что лишь один Иуда понял истинный смысл его слов и почернел лицом, ибо знал, что не пить ему Новое вино в Царстве Предвечного. Остальные, похоже, думали, что Иисус собирается выпить с ними в доме покойного плотника Иосифа, мужа его матери Марии. Никогда еще не видел так ясно Иисус, что пошли за ним люди прекрасные, но несмысленные и медлительные сердцем. Что с того, их час еще не пробил, но он уже близок. Потрясенные его исходом, они очнутся другими людьми, с обновленным разумом и душой: огненноустые проповедники, бесстрашные подвижники, провидцы, мученики за веру, а одного осенит дивный поэтический дар...
После вечери они поднялись на гору Елеонскую, и он напомнил спутникам слова пророка Захарии: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада».
— Сие сказано о вашем Учителе. Ибо вы соблазнитесь обо мне в эту ночь.
И они, то ли снова не поняв, то ли догадываясь о своей слабости, промолчали. Лишь горячка-Петр вскричал порывисто:
— Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь!
И сказал ему Иисус:
— В эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня.
Всполох поднялся, как в курятнике, куда забралась лисица. Вопили, бедные, что никогда не соблазнятся, скорее дадут себя на куски изрезать, и только Иуда молчал.
Потом пошли в Гефсиманский сад, а Иуда отстал. Иисус взял с собой на ночлег только троих: Иоанна, Иакова и Петра,— и с ними удалился под сень старых олив. Он просил спутников не спать, бодрствовать с ним в его последнюю ночь, но отяжелевшие от пасхального стола и неспособные управлять собой, они сразу начали клевать носом, а там и задышали мерным, с присвистом дыханием сна. Он отошел от них и присел на камень.
Ночь была лунная и звездная, он видел кровли Иерусалима и задумался о людях, мирно спящих в своих домах, храпящих, чешущихся, вертящихся с бока на бок, ласкающих женское тело и не ведающих, какой грядет день. День, когда люди убьют Бога. А если б ведали? Все равно спали бы, и храпели, и чесались, и вертелись, и творили любовь, ведь спят же его ученики, сведомые о расправе над Учителем. Неужели люди так толстокожи и лишены воображения? Или в них еще не проснулась настоящая душа — отзывчивая, жалостливая, влажная? Может, для того и будет завтрашний день: обратить полузверьевую душу, какой до сих пор обходились, в человеческую? Люди станут другими, когда он повиснет на кресте с разъехавшимися позвонками, не все, не сразу, но станут. Возраст нового человечества пойдет от Голгофы.
И вдруг что-то сломалось в нем, будто хрястнул хребет души, он увидел завтрашний день без осеняющего смысла, без света искупительной жертвы, а житейски: потная толпа, источающая чесночный смрад, сухая, горячая пыль, забивающаяся в волосы, в складки одежды, хрустящая на зубах, грубый шум любопытства, нетерпения, злая ругань из-за лучшего места — и себя нагого, западающего от стыда в собственный живот перед этим тысячеглазьем. Какой срам! Ему, никогда не обнажавшемуся не только перед женщиной, но даже при мужчинах, висеть голым на виду огромной толпы. И там будет Мария Магдалина и жены-мироносицы, и его Мать, и незнакомые девы, и женщины Иерусалима. С содроганием думая о казни, он как-то забывал об этой казни стыдом. И не совладав с собой, он закричал в высеребренное небо:
— Отче мой! Если можешь, да минует меня чаша сия!
Небо не отозвалось.
Он упал на лицо, раздираемый протестующим ужасом и бессилием перед Богом.
Он лежал долго, пока низкое бессилие не обернулось достоинством смирения.
— Будет, как Ты хочешь, а не так, как я хочу,— прошептал Иисус.
Он встал, подошел к ученикам и стал их расталкивать. Они мычали, вертели головами, протирали красные, слезящиеся глаза. Какие жалкие люди! И в них он думал найти поддержку.
— Я же просил вас не спать,— устало сказал Иисус.— Неужели вы не могли один час бодрствовать со мной?
— Прости, равви,— покаянно сказал Петр и зевнул так, что чуть не свихнул себе челюсть.— Мы старались не спать. Как будто кто песку в глаза насыпал.
Иисусу расхотелось укорять их, видно, еще не властны они ни над духом, ни над плотью своей. Он оставил непроспавшихся, зевающих, кашляющих, постанывающих людей и вернулся к своему камню. Иуда не заснул бы, в нем уже пробудилась та грядущая душа, которая постигнет и этих сонь, и тех, кого он не взял с собой. А каково сейчас Иуде? Ему некому пожаловаться, как жаловался он Отцу своему, он даже имени Господа не смеет произнести. Иуде во сто крат страшнее, безысходнее. Его тело не вознесется со смертного одра в небесный чертог, а будет расклевано хищными птицами, душа уйдет в преисподнюю, а память навеки проклята. Вот чья последняя ночь воистину ужасна. Мысли о Иуде устыдили, он сказал:
— Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, да будет воля твоя.
Он помолился светлой молитвой и оглянул ночь с тихими деревьями, тенями и бликами, с высоко поднявшимся небом. Исчезло серебряное струение, ограненные кристаллы звезд обособленно раскинулись по темной глухой глади. Удаляющееся небо дышало холодом. С телесным ознобом вернулась леденящая душу тоска.
Иисус пошел к ученикам и вновь застал их спящими. Они не проснулись на громкую, надтреснутую укоризну. Иисус оставил их в покое, хотя так нуждался сейчас в сочувственном слове. Но что поделать: люди спят, небо молчит и дышит холодом. Иуда, лишь мы с тобой обречены бодрствовать в этот страшный канун. Иуда, брат мой и жертва, прости меня!..
Уже под утро, вновь истомленный тоской, он в третий раз толкнулся к тем, от кого ждал помощи в свою последнюю ночь, но они беспросыпно спали, открыв глупые рты.
— Вы все еще спите-почиваете? А ведь приблизился час, и Сын Человеческий предастся в руки грешников!
Он сказал это звучным, глубоким, проникновенным голосом, способным разбудить и мертвого, но рыбаки-проповедники не проснулись.
— Встаньте! — тщетно взывал к ним Иисус.— Приближается предающий меня!
Но они проснулись лишь от топота ног, стука, звяка, бряка вооруженных мечами, копьями, копьями людей, которых привел Иуда. Проснулись, хлопая глазами и словно не понимая, где они находятся и что происходит вокруг. Так, не поняв, а может, все поняв, пустились наутек и не слышали слов Иуды, обращенных к вожакам своры, которую он привел:
— Кого я поцелую, тот и есть Царь Иудейский. Берите его.
Он повернулся к Иисусу и сделал широкий шаг навстречу ему.
— Радуйся, равви! — И потянулся к устам Иисуса.
Тот взял в руки его кудлатую голову, их губы сомкнулись. Иисус почувствовал благостный запах скошенных трав, когда к ним попадает мята и душица. Воистину, уста праведников благоухают, а уста грешников источают смрад. Странные слова Иуды были понятны Иисусу: он тверд и сделает все до конца. Нежно и горестно смотрел Спаситель в лицо предавшего его. Как истаяла его плоть, а глаза провалились в череп — вот чем он оплатил эту ночь.
Отсюда, а не с дома Понтия Пилата, начинается крестный путь Христа, ибо здесь испытал он первую жестокую потерю.
Дальше будет много всякого — и пустого, и трогательного, и глупо жестокого, и безобразного, и страдальческого: искаженное лицо Матери, так и не понявшей, что произошло от Благовещения до креста на холме Голгофы, прелестное и в дыме слез, ненужное лицо Марии Магдалины, и последняя доброта человека: воин протянул ему на кончике пики губку, смоченную в питье римского легионера на марше: смесь вина, уксуса и воды, так освежающая спаленную жаждой гортань, отчаянный взыв к Отцу: «Почто меня покинул?» — и душераздирающий, вполне человечий вопль, когда разъехался позвоночный столб. Затем тьма, дальше началось Богово...
С Иудой все было куда проще. Вечером того же дня он выбрал в окрестностях Иерусалима молодую крепкую сливу. Крепка была и веревка, захваченная из дома. Он взобрался по стволу до толстого, надежного сука, привязал к нему веревку, накинул петлю на шею, затянул до отказа и, прошептав возлюбленное имя, кинулся вниз.
Христос не ошибся в нем. Возмездие должно было следовать прямо за преступлением, иначе не сбылось бы начертанное: Христос будет предан, но горе тому, кто его предаст. В этом коренится многое: и духовные, и даже правовые начала. Первый кнут доносчику — отсюда. В предательство должна быть заложена расплата. Предать Христа мог любой из апостолов, но лишь один Иуда мог после этого повеситься. Пример Петра — лучшее тому доказательство: троекратное отречение он оплатил слезами, а не петлей.

PRAGMA

официальный дистрибьютор фирмы "CITIZEN"

САМЫЙ ШИРОКИЙ ВЫБОР
— бухгалтерских калькуляторов;
— компьютеров;
— копировальных аппаратов, телефаксов, телефонов.
Все услуги по созданию локальных компьютерных сетей.
Все услуги по сервисному обслуживанию.
Самые низкие цены. Самые выгодные условия поставки.

ПРЕДПРИЯТИЯ "PRAGMA-GROUP" ПОСТАВЛЯЮТ:

ТЕЛЕФОНЫ (оптовые партии)

страна-производитель:	Южная Корея,
модель типа:	HT-8686,
минимальная партия:	1000 шт.,
цена в партии:	350 руб./шт. включая налог с продаж,
условия платежа:	предоплата 5 процентов,
срок поставки:	2 месяца,
особенности:	адаптация к советским телефонным линиям, память на последний набранный номер.

Для заключения договоров просьба иметь при себе документы, подтверждающие наличие необходимых финансовых средств.

КОМПЬЮТЕРЫ AT 286/287

Характеристики:

сборка:	белая,
оперативная память:	1 МБ,
винчестер:	42 МБ, скорость доступа 27,5 мс,
частота:	16 Мгц по тесту Landmark,
дисководы:	5.25″ — 1,2 МБ, 3,5″ — 1,44 МБ,
монитор:	VGA,
принтер:	STAR или EPSON, широкий, 9 иголок, русифицированный, 120 зн./сек. производство ЯПОНИЯ.

КОМПЬЮТЕРЫ AT 386/387.
КОМПЬЮТЕРЫ PC/XT.

Ко ВСЕМ компьютерам БЕСПЛАТНО прилагаются дискеты.

КАЛЬКУЛЯТОРЫ

серия "desk-top"
CITIZEN SDC-814W
CITIZEN SDC-836
CITIZEN SDC-839W
CITIZEN SDC-868
CITIZEN SDC-875
CITIZEN SDC-878
CITIZEN SDC-888/888W

серия "check & correct"
CITIZEN CT-500
CITIZEN CT-600

серия "printer"
CITIZEN CX-55
CITIZEN CX-56
CITIZEN CX-122S

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

на предприятиях "PRAGMA-GROUP"

1. Техника поставляется в течение 24 часов с момента оплаты со склада в Москве.
2. В случае оплаты по чеку — поставка немедленно со скидкой.
3. Поставка техники без заключения договоров по гарантийным письмам на основании оплаченного счета.
4. Оплата посреднических и маркетинговых услуг.
5. Оплата дилерских и представительских услуг.
6. Гарантийное обслуживание техники на основании специальных сертификатов.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

1. Поставка товаров для предприятий, торгующих электронной техникой, по дилерским ценам.
2. Значительные скидки для постоянных клиентов.
3. Послегарантийное обслуживание по льготным ценам для постоянных клиентов.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОФИСОВ

КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

1. "CANON FC-2"
2. "CANON FC-5"
3. "CANON 1215"
4. "CANON 1520"
5. Тонеры для "CANON 1215/1520"

ФАКСИМИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

1. "MURATA M-5"
2. "MURATA F-1"
3. "META QX-101"

ТЕЛЕФОНЫ-АВТООТВЕТЧИКИ

1. "PANASONIC KX-T2429"
2. "PANASONIC KX-T2460"
3. "PANASONIC KX-T2470"

ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ

1. "PANASONIC KX T2365"
2. "PANASONIC KX-T2315"
3. "PANASONIC KX-T2335"

ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ

— установка "под ключ"
— любая конфигурация
— модемные мосты
— удаленные станции
— физический уровень — стандарт ETHERNET
— программное обеспечение — NOVEL V. 3.10
— комплект русскоязычной документации на магнитных носителях
— установка и монтаж в течение 24 часов с момента оплаты.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ "PRAGMA-GROUP"

ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРАГМА" *телефоны калькуляторы*

АДРЕС: 121019, г. Москва, Калининский проспект, дом 40, офис 136, 19 этаж.
Проезд до ст. метро "Арбатская", далее троллейбус №2 или автобус №89 до остановки "Кинотеатр "Октябрь".
ТЕЛЕФОНЫ: 095/291-28-20 095/203-22-06
ФАКС: 095/203-61-03
ТЕЛЕТАЙП: 114763 ПРАЙС

ПРЕДПРИЯТИЕ "ИРИС-ИНФОРМАТИК" *компьютеры оргтехника*

АДРЕС: 111022, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 18/22.
Проезд до ст. метро "Авиамоторная".
ТЕЛЕФОНЫ: 095/362-27-43 095/273-44-90

ПРЕДПРИЯТИЕ "ИННОВА" *мелкие партии, розничная торговля*

АДРЕС: г. Москва, ул. Красикова, дом 14.
Проезд до ст. метро "Профсоюзная", магазин-салон "Силуэт".
ТЕЛЕФОНЫ: 095/120-72-98 095/128-28-78

Фото Юрия ДЬЯКОНОВА

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Юрий СОЛОМОНОВ

ЧЕЛОВЕК РОЖДЕН В ЭПОХУ ДЕФИЦИТА

Начать можно эпически. Звездный час его жизни не мог не совпасть с глубочайшим кризисом страны, в которой он родился. Своими успехами он обязан неудачной попытке построить общество, основанное на утопической мечте. Парадокс, но трагическая затея воплотить эту мечту в стране, занимающей одну шестую часть суши, привела его к серьезным и не совсем личным успехам.

Он любит повторять, что его бог — Горбачев, что именно он со своей перестройкой — кузнец его счастья. Но если честно, то в его кабинете должны висеть портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Черненко, Суслова, Лигачева, Стародубцева и Павлова. Они в переносном, конечно, смысле отцы-создатели Николая Вартановича Айвазьяна, героя нашего повествования.

Ты должен сделать добро из зла, потому, что его больше не из чего сделать
Роберт Пенн УОРРЕН

Однажды он отправился за пределы одной шестой части суши, в Италию; за границей ни разу не был. В Рим группа прилетела ночью. Разместившись в отеле, туристы от сна отказались и сразу отправились гулять по городу. Когда ноги привели их на освещенный огнями вокзал, к сияющим витринам маленьких круглосуточных магазинчиков, наш герой, похоже, испытал одно из самых сильных переживаний в своей жизни. Он понял, что приехал в страну, которой не будет нужен никогда.

«У них все есть»,— сказал он тихим и страшным голосом приговоренного, но не умер, а слегка запил, чтобы как-то скоротать время до возвращения на Родину.

Родина его ждала. Не будем ручаться за все двести восемьдесят миллионов сограждан. Это было бы слишком, но для отдельных граждан разлука с ним переживалась трогательно.

ПРЕДСТАВЬТЕ себе небольшой, человек эдак в сто, творческий коллектив, выпускающий, скажем, журнал или газету. Типичная редакционная обстановка, стучат машинки, звонят телефоны, где-то в кабинете с остервенением спорят, в коридорах кокетничают девушки. Надо всем аромат табака и вдохновения.

Вдруг в эту интеллектуальную гармонию врывается зычное: «Шестой этаж! Быстро вниз — носки, бюстгальтеры, арабская парфюмерия. После обеда туфли «саламандра» и наши куры!»

Все! На этом кончаются дебаты о раннем христианстве и компьютерной графике, замирают пишущие машинки, сгорают непогашенные сигареты в пепельницах. Тщетно разрываются телефоны на письменных столах — все мастера пера там, внизу. Скромные машинистки и известные публицисты смиренно дышат друг другу в затылок, продви-

гаясь к носкам, бюстгальтерам и одеколону. Через несколько часов этот же боевой клич позовет их вновь туда, где среди еды и товаров, среди весов и кассовых аппаратов будет расхаживать он — зовите его как угодно — босс, дирижер, конферансье, дьявол-искуситель, ангел-хранитель.

«Мафия бессмертна!» — кричит он, хлопая по плечу зама главного редактора. «Птичка моя! Подойдешь завтра, поменяем на размер меньше»,— одаривает он рядовую сотрудницу. «Пошел ты, знаешь куда!» — это уже кому-то из ревнителей справедливых очередей. А дальше что-то про мать твою, невзирая на исполненных достоинства искусствоведов и чьих-то перепуганных жен, вызванных мужьями на предмет соответствия ноги импортному размеру туфель.

Нет, никто не вскипает, не требует одернуть хама. Здесь лишь один имеет право на характер — его энергетическое поле, его аура окутала всех, лишила воли, разума, самолюбия. И не надо ничему удивляться.

Человек эпохи дефицита — существо особенное. Его чувство собственного достоинства распылено по бесчисленным очередям, ночным записям на повседневные товары, по всевозможным доставаниям, выбиваниям, распродажам. Оно, это чувство, стерто, уничтожено теми, кто имеет доступ к самой могущественной сфере, какую только могли создать отцы — основатели государства,— сфере распределения. Армия, КГБ, военно-промышленный комплекс — понятия грозные. Но все мура по сравнению со сферой распределения. Мы давно живем в стране, где любой фасующий, взвешивающий, торгующий, подписывающий чувствует себя сильнее, выше, умнее думающего, работающего, творящего.

«Ну а ваш-то! — слышу возглас.— Такой же обыкновенный «жучила», доставала. Да еще с претензиями на роль благодетеля!»

Что правда, то правда. Но она не так проста, как видится на первый взгляд.

СЕГОДНЯ мы захлебываемся в разговорах о рынке, в спорах о том, как он трудно у нас начинается, какие механизмы и какие законы надо создать, чтобы пришло спасение.

Но мы мало говорим о спасителях. Конечно, Тарасов, Таги-заде, клуб молодых советских миллионеров... Это по всем газетам. Звезды предпринимательства у всех на виду. Но тысячи коллективов, миллионы людей к рынку поведут не они. Средний класс предпринимателей и менеджеров, критическую массу работяг рынка обществу еще предстоит увидеть. При этом хорошо бы не ужаснуться. Потому как, если перефразировать Ленина (крамолу несу!): капитализм мы создаем из того человеческого материала, который оставил нам в наследие социализм.

Все мы, начиная от апологетов социализма и кончая борцами с ним, взращены в одной колбе.

...Недавно у него появилась «Волга» с радиотелефоном в салоне. «Выбил в гараже Ельцина» — такое пояснение казалось ему наиболее злободневным. Однажды утром в роскошном костюме он сел за руль сам. Где-то в Замоскворечье остановился возле довольно зачуханного дома, вошел в подъезд, стал звонить в разные квартиры. Первой вышла старушка. Он ей: «Что, бабка, не узнаешь? Да я же у вас тут дворником был. Мать! Вспомни, это я ваш подъезд скреб! Ты выйди, я тебя прокатить хочу!» Старуха хлопнула дверью. Это же сделали жильцы других квартир. «Ты понимаешь, я же хотел им показать, что остался таким же простым, каким и раньше был,— сказал он мне после с некоторой злостью.— Но им даже в башку не приходило, что это тот самый я!»

Я посмотрел на Айвазьяна. На нем были шикарный костюм, белоснежная сорочка, итальянские туфли... А на голове ондатровая шапка. Он, как я заметил, любит, чтобы именно так — костюм и шапка. Ясно, что нелепо, но, очевидно, шапка видится Айвазьяну тем самым гнездом, в котором поселилась птица счастья.

КОГДА-НИБУДЬ, мне кажется, будет написана история провинциалов, летопись жизни и борьбы тысячи энергичных людей, перемещавшихся в разные годы из глубинки в столицу. Целеустремленность и жизнестойкость провинциалов достойны целого исследования, хотя бы потому, что их влияние на жизнь Москвы и Отечества бесспорно. Провинция дала миру Сергея Есенина и Василия Шукшина, но она же помогла взойти, скажем, звезде Константина Устиновича Черненко. Из провинции являются вундеркинды в университеты, вливается в преступный мир крупных городов «лимита». Герои и злодеи, маленькие люди и номенклатурные чины — всех их объединяет утрата почвы, на которой они родились. Прав тот же Шукшин, показавший, как человек без корней теряет нравственную основу. Но, оказавшись один на один с огромным городом, провинциал вынужден включать в дело весь возможный ресурс собственной личности — ему не на кого надеяться. За ним не стоят ни семья, ни родные березы, ни поддержка друзей. Чаще всего жизнь он постигает сам. Дело трудное, надо пустить корни на чужой каменистой почве. И он их пускает.

Что вырастает при этом, какие мутации происходят — вопрос другой...

РАНО потеряв мать, воспитанный отцом, из краснодарской глубинки с тетрадкой стихов наш герой приехал в Москву, где явился в дом к одному известному поэту, потом к другому, третьему. Чаще всего его не пускали дальше лестницы, иногда дело доходило до прихожей, а однажды даже до чашки чая.

«Тут недавно один из них заходил насчет туфель. Я не стал ему напоминать, как он меня учил: «Вам надо обратиться к литконсультанту журнала». Он меня, конечно, забыл. А я помню. Как он лебезил! «Николай Вартанович, мне бы три пары. Теще, жене и дочке...» Без Айвазьяна сегодня всем плохо. А когда Айвазьян просил его стихи послушать?»

К своему нынешнему триумфу он шел дорогой дворника, банщика, официанта... Он напомнил мне, как я публиковал в свое время его записки официанта. Действительно, пришел тогда улыбчивый и тихий, говорил, что не очень силен в словах, но жизнь ресторана знает изнутри. Статью напечатали. Ее хвалили. И только теперь я начинаю понимать какие-то новые стороны этих мемуаров.

Он пришел из мира, который мы долгое время не принимали. Точнее, принимали, но лишь как объект критического анализа. И Айвазьян писал тогда свои заметки с точным расчетом на покупателя. Он осуждал свою среду обитания, смотрел на собственную работу нашими глазами, как на занятие лакейское, порочное, заведомо нечестное и т. д. По тем временам и чаевые-то были выведены им как невероятный криминал.

Нет, я, кажется, ошибаюсь, Айвазьян не мог исходить в своих записках только из газетной конъюнктуры. Мальчик, начинавший юнкором в анапской газете «Советское Черноморье», тогда питал к журналистике серьезные чувства. Это сейчас он орет: «Ваше дело писать, а мое вам помогать». Тем не менее он хранит альбом вырезок собственных публикаций в разных изданиях. Думаю, не все из опубликованного — продукт самостоятельного творчества, но сомневаться в чистоте помыслов не могу.

Все чаще прихожу к мысли: такой тип, как он, мог возникнуть только у нас и только сейчас — на изломе двух эпох. Он как бы пребывает в двух мирах. Один из них что-то вроде раннего капитализма, на его эмбриональном уровне, здесь свои правила игры, свои приемы добывания товара, обмена, свои взаимоотношения. Другой мир — это и другой Айвазьян, с его рассуждениями о справедливости и коллективизме, о том, что он никому не позволит обижать главного редактора, ветерана КПСС, партийца до мозга костей. А то, что наш герой после всех павловских ценовых реформ в течение нескольких месяцев продолжал продавать сотрудникам некоторые продукты по старым ценам — это как-то не укладывается в образ любителя наживы. С жиру бесится? Благодетельствует? Сколько же в нем всего переплетено — хорошего и плохого, рабского и геройского, ложного и правдивого.

С шести утра уже на работе. Того же требует от своего персонала. Не надо спрашивать, кто эти парни — грузчики, снабженцы, охранники. Ясно одно — его команда. Конечно, у него работать — это в какой-то мере облегчать свою жизнь в эпоху дефицита, и они стараются.

«Когда они на заводе погрузили сто холодильников за полчаса, директор просто снял шляпу. «Мне бы таких парней, Айвазьян!» Недавно прохожу мимо комнаты, где они обычно у меня размещаются, смотрю — все уснули. Дети! Взял бы и расцеловал...»

Это он-то расцеловал бы? Он, с его величавыми проповедями, с монологами о том, как надо любить и уважать шефа, с его трехэтажными матюгами, если что не так? И это они стерпят. Молодые, сильные, ушлые «от Айвазьяна не уходят!» — это о себе.— Мы выгоняем только того, кто не оправдал доверия. Правда, выгонял! Пьяниц и нечистых на руку. Оставшиеся мужали и сплачивались вокруг шефа».

Кто они ему? Партнеры? Друзья? Рабы?

Да, он их начальник. Но есть и нечто общее, уравнивающее их с ним. Они такие же, как он,— без корней, в силу разных причин потерявшие некую линию жизни. Он для них тот, кто способен дать работу, еду, одежду. Добавьте к этому ореол мафиози, который создает вокруг себя наш герой с его громким обаянием: «Птичка моя, говорит Таразини! Соедини-ка меня с вашим коммерческим директором...» Согласитесь, это привлекает больше, чем районная служба трудоустройства.

Еще они видят, что «шеф пашет на людей». Не щадит живота ни в переносном, ни в прямом смысле. Приходит на работу чуть свет, уходит поздно, питается кое-как. Есть за что уважать и кому служить.

Служат! В наше время, когда налицо дефицит всего, в том числе и идеалов, такой, как Коля, вполне тянет на путеводную звезду. Точно так же, как он когда-то хотел стать поэтом или журналистом, эти, я уверен, хотят быть деловыми ребятами. Конечно, они видят, что их патрон не из тех, кто представляет нарождающийся класс в телешоу и набрасывает песцовые шубки на голые плечики победительниц конкурсов красоты. У Айвазьяна приходится ночами трястись в грузовике, а днями фасовать не очень ароматную селедку, терпеть похмельное настроение шефа и т. д. Это уже не романтика, а психология незащищенных людей, которых столько лет обманывало государство, писавшее на своих знаменах что-то громкое и невнятное о социальной справедливости и всеобщем благоденствии.

Все оказалось ложью. И если у народа остались кормильцы, то не благодаря лозунгам, а вопреки им. Остались не только мастера, производящие продукт, но стихийно выросшие предприниматели.

Кто-то из моих знакомых заметил, что мы имеем лучших предпринимателей в мире. Потому что в наших условиях плохие и средние просто не выживают.

ОН ВСТУПИЛ в рынок с трешками и пятерками, собранными с коллектива на первые продовольственные заказы. Этими пайками он и занимался. Пока не понял, что способен на большее.

Айвазьян стал посредником, менялой, «жучилой» — как угодно. Но он им стал. На вопрос, как ему удается очаровывать директоров заводов, заместителей по сбыту, он любит пускаться в долгие рассуждения: я, мол, весь перед вами, как на ладони. Любой пусть попробует себя вместо Айвазьяна.

Говорит правду, но не всю. Действительно, нагл, смел, обаятелен, но с этими талантами девушек хорошо очаровывать. Наш герой опускает одну важную деталь: во всякий начальственный кабинет он вступает не только с белозубой улыбкой, а с информацией о дюжине предприятий и контор, которые тоже ждут чего-нибудь поесть и что-нибудь поносить.

Айвазьян — бизнесмен-одиночка. Сам себе и биржа, и брокер.

Ему важно не просто найти партнера по сделке, ему нужен человек, как бы на него похожий — поилец и кормилец своего коллектива. А так как в стране нынче все — дефицит и каждый руководитель из кожи лезет, чтобы удержать на предприятии людей, то Айвазьян всюду желанный.

Но повторим, его отличие не только в обаянии и контактности, наш герой хорошо информирован. На мой вопрос, как он узнает, что где выпускают, Николай несколько презрительно меня оглядел и сказал:

— Журналист картотеку статей ведет! А я этикетки собираю... Непонятно? Поясняю. Недавно в один сельмаг заскочил, там мужик последнюю тельняшку покупает. Я у него этикетку хвать! Сейчас уже с этой фабрикой созвонился, скоро у меня вся редакция в тельниках ходить будет.

Я представил всю редакцию в тельняшках. «Оптимистическая трагедия» уступит этому спектаклю. А Николай уже о другом — о том, что он газету придумал.

— Ее будут продавать вечером и ночью. В ней будет... Ну все, понимаешь, все! Какие товары и в какие магазины будут завозить с утра в Москве! Просто? Но никто, кроме меня, это не закрутит, дело-то в информации, а она здесь — он похлопал себя по встрепанной, черноволосой, но уже седеющей голове, которая вместо рифм и высоких мыслей должна терпеливо впитывать в себя «все» — начиная от мороженых кур и кончая итальянскими сапогами.

Я СЛУШАЮ и думаю, нет, никогда страна изобилия не может быть страной чудес. Подлинные чудеса возможны только в стране дефицита.

Только у нас можно за ночь в облюбованном месте возвести гараж для невесть где купленного грузовика, а утром, отправившись к райисполкомовским девочкам, за полчаса все оформить и узаконить.

— А ты знаешь,— сообщил мне один из сотрудников его редакции,— как он выступил, когда у нас попробовали главного редактора сместить? Айвазьян вышел и сказал: сместить, конечно, можно, но жизнь сегодня такая, что коней на переправе не меняют.

Чего он нового сказал? А ничего. Но ведь подействовало...

Не знаю, насколько велика его роль в неудавшемся редакционном перевороте, но вывод из этого все же можно сделать. В несчастном Отечестве свободомыслие испытывается не только следственными изоляторами и психушками, доносами стукачей и разносами на собраниях. Свободомыслие, независимость личности, ее принципы испытываются еще и дефицитом. Мы не просто берем то, что нам даруют. Получаемый дефицит весо́м. Он многих заставляет сгибаться.

— У МЕНЯ одна задача,— гонит прочь мою мысль Айвазьян,— чтобы коллектив ни в чем не нуждался, чтобы каждая мать могла принести вечером детям кусок колбасы и все такое. Коллектив,— его голос набирает грозные ноты,— это сила! — Здесь в дело снова вступает, пожалуй, та часть его натуры, что воспитана социалистическими идеями.

Вот он собирает собрание и объясняет, почему он идет на непопулярные меры. В этом смысле наш герой выгля-

дит гораздо привлекательнее путчиста — финансиста Павлова: за повышением цен у него следуют более конкретные защитные меры. Если он берет за бутылку водки четвертную, то здесь же может быть выдана бесплатная курица. И мясо у него дешевле, чем в магазине, именно потому, что сам коллектив, осчастливленный, все уже оплатил.

Конечно, сегодня Айвазьян уже не только снабженец. Он уже умудрился и малое предприятие создать, и взять в аренду здание для редакции. Собирается один этаж в отель для журналистов превратить, на другом открыть пресс-бар... «У нас тут сливки общества собираться будут!»

Тут-то, конечно, впору спросить — а себя, себя-то он не забывает? А то ведь святой какой-то получается.

Что за сделки он совершает, какой «навар» имеет для себя — в это вникать не хочу. Не уголовное дело пишу. Да и потом, как посмотреть. С точки зрения нашей «совковости» можно Айвазьяна крепко заклеймить. А с точки зрения рынка? В интересное время живем, товарищи-господа...

Короче, на святого совсем не тянет. Как, впрочем, и на миллионера. Живет в 19-метровой квартире вчетвером. «Потому и в гости никого не зову. Стыдно. Здесь мой дом — в кабинете. И жизнь моя здесь, да еще в разъездах. Сегодня в ночь на Новгород идем!..» — Глаза его вновь загораются таинственным огнем. Секунду он смотрит на меня, потом идет в подсобку и выходит оттуда с гармонью на груди. «Рынок — это я так скажу... это свет в конце тоннеля»,— говорит он, и сравнение кажется ему удачным.

— А вот скажи,— начинаю я,— разве можно обеспечить всем всех? Ты ведь только для своих. Причем — за счет кого-то.

— Есть у меня мечта,— благодушно поясняет он.— Я мечтаю, чтобы в каждом коллективе был свой Айвазьян. Конечно, второго такого, как я, быть не может. Но что-то похожее... На каждом предприятии — деловых людей, преданных коллективу. И тогда народ вздохнет спокойно.

От своей мечты он млеет еще больше. Пальцы ложатся на кнопки гармони.

— Айвазьян в молодости на смотрах призы брал. Как чтец и как гармонист,— предупреждает он и уверенно растягивает меха.

Я оглядываю кабинет. На столе надкушенный хлебный батон, открытые банки консервов, вареная колбаса рваными ломтями, стаканы с неясными напитками, за столом несколько человек, как видно, приближенных к Айвазьяну. В большой вычурной вазе торчат шашлычные шампуры — чей-то подарок. На них латинскими: «Так проходит слава мирская».

А рядом я вижу личный фирменный бланк, в нем указана должность Айвазьяна, указана так, как ему самому хотелось. Чтобы типографским способом, «как у депутатов». И чтобы — «заведующий редакцией, председатель-распорядитель общественного фонда материальных ценностей коллектива, уполномоченный редколлегией по обеспечению сотрудников промышленными и продовольственными товарами».

«Боже мой, кем бы такой был в нормальной стране! — вскипает у меня в голове.— А его ребята? А мы все? Но если все, то мы и есть страна. Бред какой-то...»

Потом мои мысли начинают терять философскую окраску. Я думаю, что надо бы спросить у Николая насчет яиц и тушенки...

— Пое-е-дем кра-с-о-о-о-тка кататься!..— беззаветно выводит Айвазьян.

Кажется, еще немного и гармонь разорвется от того, как ему хорошо...

Людмила САЛЬНИКОВА

ГАЛАКТИКА ПО ИМЕНИ ФИНХОРН

— Прекрасно понимаю, что многих из вас, советских, теперь тошнит от слова «коммуна»,— говорит Лайза, открывая дверцу машины. Мы садимся. В последний раз оглядываюсь на спящий караван-парк. Четыре утра. Дорога отсюда, с побережья Северного моря, до Лондона займет не меньше двенадцати часов. Надо торопиться. Проезжаем ряды бунгало, мелькает купол гостевого центра, качнулись ветки цветущих кустов сада. Все. Коммуна «Финхорн Фаундейшн» быстро удаляется, ускользает из окна машины, на глазах, перемещаясь из осязаемой реальности в дымку неправдоподобных воспоминаний. В самом деле, что заставило меня приехать в это необычное место, не известное многим урожденным англичанам, знаменитое на весь мир? Права Лайза. После коммуналок, колхозов и пионерских сборов, после шествий в колоннах демонстрантов и добровольно-обязательных субботников — короче, после всего нашего многолетнего казарменного коллективизма вдруг снова интерес к коммуне?..

Пожалуй, сначала было только любопытство. Обыкновенное журналистское любопытство. История сама просилась на бумагу. Сочини такое романист, его упрекнули бы в отсутствии чувства меры, в склонности к преувеличениям. Спасает только одно — все является чистейшей правдой. Более того, до сих пор здравствуют главные герои этой истории.

* * *

Айлин родилась в 1917 году в Александрии в счастливой, добропорядочной семье директора банка. Жизнь протекала так, как и должна была. В 22 года вполне удачное замужество. Муж — сильный, благородный офицер, дающий чувство полной уверенности в завтрашнем дне. Пошли дети. Один, два... пять. Казалось бы, судьба окончательно сложилась.

И тут появляется Питер Кэдди. Необычный человек, рассказывающий о странном мире духовных откровений. Его нельзя назвать верующим фанатиком, он не ходит в церковь, для него Бог — везде. Не похож Питер и на чудака не от мира сего: хорош собой, активен, общителен. При этом очень основателен и целеустремлен. У Айлин и Питера сами собой завязываются долгие разговоры о внутренней жизни человека, скрытой от посторонних глаз, но вливающейся невидимыми токами в общую духовную ауру. Айлин начинает чувствовать, что рождается заново, открывая иной смысл собственного бытия.

Однажды Питер появился с известием, которое для него уже превратилось в твердое решение. По его словам, на прошлой неделе он посещал Иерусалим и, прогуливаясь в его окрестностях, отчетливо понял, что Айлин — его вторая половина, посланная ему свыше. Им вместе предначертано совершить нечто значительное, они просто не могут, не имеют права расставаться.

— Питер, с мужем и пятью детьми я не слишком удачная для тебя половина,— пробовала отшутиться Айлин.

Но Питер был очень серьезен.

Какое-то время прежняя жизнь по инерции продолжалась, но в день своего тридцатипятилетия Айлин решилась. Она покинула все: семью, дом, покой, достаток. Вопреки здравому смыслу, несмотря на неизбежную потерю детей. Желание следовать за Питером оказалось сильнее, хотя у того не было ничего, кроме веры в необходимость духовного поиска. Не один год ушел на странствования, тяжелый труд, бедность, долгие расставания. В семье Кэдди один за другим появилось три малыша, а у Питера никак не ладилось с работой. С позиции обывателя такая жизнь — сущая катастрофа. Но Айлин была спокойна. В каждодневных медитациях она обращалась за поддержкой к Богу, и Он отвечал ей всякий раз: «Ничего не бойся, ничему не сопротивляйся. Уроки, которые ты постигаешь, тебе очень пригодятся. Я с тобой, ты в полной безопасности».

Питер абсолютно доверял внутреннему голосу своей жены, не впадал в отчаяние и продолжал искать.

В 1957 году их семья оказалась на севере Шотландии, в маленьком городке Форрес. Здешнему уютному, но запущенному отелю Клуни Хилл, похожему на средневековый замок, требовался расторопный администратор. Питер подходил на эту роль как нельзя лучше. Отель в скором времени заметно преобразился и завоевал добрую славу. Гостей удивляли не только комфорт и чистота комнат, но и какое-то необъяснимо легкое, радостное настроение служащих отеля, напоминающих членов одной счастливой семьи.

Однако испытания этим не закончились. Новое начальство отеля по непонятным причинам увольняет Питера и Айлин, и тем не остается ничего другого, как, погрузившись с детьми и поклажей в передвижной летний домик (караван), снова двинуться в путь. Вместе с ними отправляется одна из их ближайших помощниц — Дороти Маклин.

Маленькая экспедиция прибыла на пустынный берег морского залива. Вокруг ничего, кроме песка и гальки, в миле — маленькая деревушка Финхорн. Стоял ноябрь 1962 года, впереди зима, весьма суровая в здешних краях. Казалось бы, надо бежать отсюда в обжитое, надежное место, но путешественники решают остановиться именно здесь. Сумасшедшие? Со стороны — наверное. Но Бог говорит, что здесь им суждено пройти главный жизненный урок, который послужит примером другим. Так они чувствуют.

Никаких великих замыслов не строили. Айлин занялась огородом, принесшим в скором времени небывалый урожай. О чуде заговорили газеты: как в северных широтах, на песке возможно выращивать крупные, сочные кочаны капусты, огурцы, помидоры, дыни?..

Работа по хозяйству перемежалась медитациями, обсуждением путей духовного творчества. Шла активная переписка с единомышленниками во всех концах света. Постепенно многие из них превратились в частых гостей маленького духовного сообщества, обосновавшегося на морском побережье. Приезжающим было интересно воочию убедиться, что внутреннюю гармонию можно обрести вдали от житейских удобств, достатка, карьеры. Кому-то такой стиль жизни оказался близким. Возле зеленого вагончика, стоящего в дюнах, начали появляться новые бунгало. Складывалась коммуна «Финхорн Фаундейшн», которую теперь посещают несколько тысяч человек ежегодно, в которой постоянно проживает около пятисот человек.

* * *

— Вы сейчас в панике и растерянности твердите, что в стране крах, ничего нельзя сделать. Разве можно так опускать руки? Ведь Питер и Айлин тоже начинали с пустого места. Всего можно добиться общими усилиями многих,— продолжает размышлять Лайза.— Суверенитет, независимость — это прекрасно, но нам друг от друга никуда не деться, мы обречены работать и жить вместе.

Лайзе трудно вести машину. То и дело на дорогу выскакивают кролики. Вместо того, чтобы убегать, они спешат нам навстречу. Животные здесь не чувствуют в человеке врага.

— Знаешь, когда я пришла в коммуну шестнадцать лет назад, поразилась: как сотни человек могут дружить и любить друг друга? Осталась на неделю, потом еще на месяц. Теперь не могу представить себя без коммуны. Я абсолютно уверена, что именно так будет жить все человечество в скором будущем. Иначе просто не получится.

Услышь сейчас эти слова кто-нибудь из моих соотечественников, он бы, пожалуй, только горько вздохнул, назвав Лайзу наивной идеалисткой. У нас тут разделяются и размежевываются рес-

публики, партии, парламенты, а она о любви...

Но прошу вас, подождите безнадежно отмахиваться. Если вспомнить, еще задолго до шотландской коммуны подобные мысли посещали и нас.

Повторение пройденного. *«Тридцать первого декабря 1921 года несколько молодых людей, решивших вести коллективное сельское хозяйство, заключили с Московским уездным земельным отделом договор на аренду небольшого помещичьего имения, носившего название Шестаковка. Назвали наш коллектив «Жизнь и труд». В состав коммуны входила крестьянская семья, две рязанские девушки, пришедшие искать от голода и малоземелья заработков у московских огородников, два подростка из детского дома. Бывал и еще народ, приходящий и временный. Жили весело, трудились с большим подъемом. Уже с начала 1923 года хозяйство стало товарным, мы снабжали молоком 2-ю Градскую больницу и детские ясли фабрики Гознак.*

Все дела обсуждались сообща за столом в завтрак, обед, ужин. Никто не был официальным руководителем. Наоборот, мы стремились, чтобы все члены коммуны были всегда в курсе всех дел, и решили, что все по очереди, сменяясь каждый день, будут руководить текущими работами — дежурить.

Напрасно было бы искать в нашей жизни признаки религиозности в том смысле, как это понимают церковники и безбожники: никаких обрядов, никакого культа, никаких молитвенных собраний — ничего этого не было. Было свободное принятие того понимания и пути жизни, которое так сильно и ярко выразил Л. Н. Толстой, и это было не потому только, что так сказал Толстой, а и потому, что каждый чувствовал это в большей или меньшей степени и в себе, в своем сознании, в своей душе.

К 1925 году мы жили уже вполне обеспеченной жизнью. Питание было общее, бесплатное, также жилище, освещение, отопление, а на одежду и обувь выдавали каждому ежемесячно 25 рублей на расходы по его усмотрению».

* * *

Проехав один за другим несколько маленьких городков, похожих на театральные декорации к шекспировским пьесам, мы оказались в безлюдной части Шотландии, где на холмах, поросших диковинными желтыми цветами, неспешно паслись неизвестно чьи овцы, а по равнине шумно бежали пенистые реки, словно только что спустившиеся с гор.

— Как тебе понравилась твоя группа? — Лайза повернулась в мою сторону.

Понравилась — слово не совсем подходящее. Сначала было легкое недоумение: ведь мы, собранные в коммуне на неделю вместе, настолько разные... Годящаяся мне в мамы шведка Рут и девятнадцатилетний Растмус из Дании, смешливый шотландец Дугги и романтическая немка Сабина, смуглые Карло и Лаура из Италии и хрупкая белокурая Анжела из Норвегии. Что нас связывает, кроме желания принять участие в знаменитой «экспириенс уик»? Ровно неделю мы должны жить бок о бок, пытаясь понять, почувствовать и полюбить друг друга. Такую форму общения, вернее, своеобразного тренинга, придумали здесь, в «Финхорн Фаундейшн», чтобы доказать, что между людьми разных стран, культур, политических и религиозных убеждений, в сущности, нет никаких барьеров. Но одно дело — соглашаться с этой гуманной истиной отвлеченно, и совсем другое — установить взаимопонимание вот с этими, вполне конкретными людьми, которых ты не выбирал, о которых совершенно ничего не знаешь.

Похоже, что у остальных членов группы тоже некоторое замешательство. Шведка Ивелина интересуется: где можно хранить деньги? Это понятно: двери в коммуне не принято закрывать на ключ. Дугги тут же острит: «А где твои деньги лежат? Ну-ка...» Ведущая нашей группы Тина растерянно пожимает плечами: «Не знаю, у нас не бывает случаев воровства...»

Садимся в кружок. Первое знакомство. Каждый рассказывает немного о себе, объясняет, почему решил приехать сюда.

Сабина — из Гамбурга, работает переводчицей, но очень устает от большого города, ей ближе созерцательный покой природы, она стремится как-то изменить жизнь. Растмус брызжет энергией, ему интересно понять себя, почувствовать свои возможности. У Рут были нелегкие годы, долго оставалась без работы, устроилась таксистом, потом санитаркой в больнице, выращивала цветы... Сейчас хочется оглянуться, осмыслить прожитое. Ее подруга, шведка Май, работает учительницей уже пятнадцать лет, пора искать что-то новое — накопился опыт, пришло понимание себя...

Где бы мы ни жили, чем бы ни занимались, как бы счастливо или не очень складывались наши судьбы, но хотя бы однажды перед каждым возникал извечный вопрос: в чем смысл моего существования? Что я дал другим своим появлением в этом лучшем из миров? Очень важно знать, что ты не в одиночестве мучаешься над постижением сокровенной тайны, более того — спрятанные от посторонних метания на самом деле близки и понятны вот этим незнакомым людям. Стало быть, нам только кажется, что мы друг другу чужие...

«Шеринг» — понятие, придуманное тоже в Финхорне. Образованное от английского глагола «шеа» (делиться, владеть совместно), оно обозначает сочувствие, сострадание к другому. «Шеринг» — главное, ради чего существует коммуна. Научиться чувствовать другого как самого себя — значит решить чуть ли не все политические, расовые,

Айлин Кэдди (слева) и Лайза Шнадт.

религиозные, военные и прочие проблемы планеты. В рамках коммуны они, во всяком случае, решаются весьма успешно. Правда, военная база, бок о бок соседствующая с коммуной, гулом самолетов все время напоминает, что за пределами «Финхорн Фаундейшн» со взаимопониманием несколько сложнее...

После первого знакомства мы стали поглядывать друг на друга гораздо дружелюбнее, к кому-то захотелось подойти и поговорить пообстоятельнее.

На следующий день мы занимались танцами. Я даже не догадывалась раньше, что каждый народ вкладывает в свой национальный танец столько мудрого стремления к согласию и единению. Круг, образованный сплетением рук, несложные переступания ногами, покачивание в едином, слаженном ритме — все так просто и так удивительно. От руки к руке бежит горячая волна.

Не важно, какой это танец — японский или еврейский, английский или румынский,— в любой включаешься сразу, ибо главный смысл танца всегда понятен.

Почему мы забыли свои народные танцы, лишив себя такого великолепного способа общения?

Доходит очередь до русского хоровода. Красивого, озорного, с неожиданными переходами и поворотами. Стыдно, что осваивать его приходится в Шотландии. Попутно отмечаю, что уже очень давно не танцевала так легко и раскованно, с таким неподдельным удовольствием. До чего же аскетично и хмуро привыкли мы жить в своем отечестве, добровольно лишая себя многих красок мира, обкрадывая в радости и симпатии друг к другу...

Всех так увлекла удалая русская пляска, что, когда кончилась песня (знаменитые «Валенки»), мы никак не могли остановиться. Поставили запись во второй раз. Вдоволь наплясавшись, все стали почему-то меня благодарить. Русский гость — редкость в коммуне, многие вообще впервые видят живого советского человека.

— И вам разрешают теперь ездить за границу без сопровождающего, просто так? А что такое «вы-а-лэн-ки»?

Повторение пройденного. *«Наступил 1927 год. Времена начали меняться. Однажды председателя совета коммуны вызвали в Кунцево, в райисполком к председателю Морозову.*

— Ну ладно, это все хорошо,— сказал Морозов.— Вы уже несколько лет живете коллективно, освоились, а теперь мы начинаем всю деревню переводить на коллективные рельсы, нам нужны опытные люди, руководители. Становитесь во главе соседних сел, помогите им организоваться в колхоз.

Председатель совета коммуны наотрез отказался.

— Почему? Вы ведь тоже за коллективный труд.

— Да, мы за коллективный труд, но за добровольно коллективный, по сознанию, а они — против желания. Потом у нас уклад жизни очень отличный от их уклада в отношении питания, вина, ругани, признания церкви и ее праздников и всяких обрядностей. Мы жили до сих пор коммуной и дальше думаем жить так, но сливаться в один коллектив, а тем более руководить этим делом мы не будем. Ничего из этого не выйдет. Что касается нашего опыта, то мы охотно будем делиться с теми, кому это будет нужно.

Вскоре райисполком вынес постановление о роспуске нашей коммуны и передаче всего имущества и хозяйства группе крестьян из села Тропарева.

Во всех краях страны были единомышленники Л. Н. Толстого, большинство из них жили на земле, кто работал коллективно, кто — единолично. И почти у всех у них возникали трения с представителями местной власти. Кто просился в колхоз, его не принимали как толстовца. Кто не хотел идти в колхоз, а его тащили.

Мы чувствовали, что на старом месте у нас уже будет не жизнь, а борьба. Наша коммуна стала организационным ядром переселения.

Так благополучно, не растеряв ничего ни из материального, ни из духовного, закончила коммуна «Жизнь и труд» свое переселение из-под Москвы в Сибирь, под открытое небо, со скромным запасом продовольствия, а кто и вовсе без всяких запасов, почти без средств, кто в одиночку, а кто с семьями и малыми детьми, без всякой помощи от кого бы то ни было, а скорее окруженные каким-то любопытством и недоверием, съезжались в большинстве своем незнакомые раньше друг другу люди».

* * *

Возле Глазго мы с Лайзой заблудились. В паутине одинаково безупречных дорог, разнящихся только номерами, выбрали не ту. И куда бы ни сворачивали, как ни старались изменить направление, неотвратимо возвращались в один и тот же район города, где заводские трубы перемежались с готическими шпилями старинных домов.

— Ну вот, ты же хотела увидеть Глазго...— мрачно шутила Лайза, листая карту.

Наконец с помощью полицейского мы выбрались из лабиринта дорог на скоростную трассу, ведущую в Лондон. Облегченно вздохнули. Лайза затянулась сигаретой.

— Не только тебе интересен опыт Финхорна. Нам тоже очень важен советский опыт. Мы не хотим повторять ваших ошибок.

— Думаешь, такое возможно?

— Еще как! Нам, например, грозит бюрократизация. Мы не стремимся к монополии на власть, у нас нет единого могущественного лидера, есть просто небольшая группа людей, которые отвечают за определенные стороны жизни коммуны. Попробуй найти в таких условиях конкретного ответственного за конкретное дело. Каждый кивает на другого. Еще труднее проявить какую-нибудь инициативу. Надо согласовать и с одним, и с другим, и с третьим... Море слов, а результат нулевой. Я предпочитаю действовать на свой страх и риск, ни с кем не советуясь. Потом некоторые на меня косятся недовольно.

— Но ведь все-таки действуешь! Скажи, а не устала ты жить вот так, по-коммунарски, все время на людях?

— Понимаешь, во мне постоянно борются два начала: независимость и желание быть с людьми. Спасает то, что я часто уезжаю из Финхорна. А вообще не все так просто... Далеко не каждый может долго выносить полупоходную, полустуденческую жизнь в маленьком бунгало. За жилье и питание никто не платит. Но и зарплату коммунарам мы можем давать более чем скромную: 75—100 фунтов в месяц (средний англичанин зарабатывает по крайней мере в десять раз больше). Получается несвобода, нельзя купить себе что хочется, обставить свою жизнь с комфортом, как у других «нормальных» людей. Иных хватает всего на несколько лет, другие начинают искать заработки на стороне, отвлекаясь от главного, ради чего они здесь. В общем, те же проблемы, что и у вас...

Меня подмывает спросить Лайзу: кто, по ее мнению, стремится в коммуну — слабый духом человек, желающий убежать от жизни, или, напротив, сильная личность, способная бросить вызов обывателям? Но я не задаю этого вопроса, боясь ненароком обидеть. Во всяком случае, про Лайзу Шнадт я знаю точно: она яркая, талантливая женщина, наделенная даром объединять людей. Благодаря ее энергичным усилиям между Советским Союзом и Финхорном налажена постоянная связь. Сюда, в Шотландию, время от времени попадают советские гости, а в Москву, Ленинград, на Урал, в Среднюю Азию — группы из Европы и Америки.

Вспоминаю других членов коммуны. Например, Уллу Кнап.

Каждый участник «экспириенс уик» должен выбрать себе какую-нибудь физическую работу, которая тоже является частью тренинга. Мне захотелось побывать в саду, который поставляет на вегетарианский стол коммуны свежие фрукты и овощи.

На свой участок меня пригласила Улла. Пока мы срезали с грядок капусту и укладывали ее в ящики, многое узнали друг о друге. С членами коммуны легко и приятно общаться, они любого встречают с дружелюбной улыбкой, о себе говорят открыто и просто. Улла из Германии, ей сорок лет, закончила Гамбургский университет и получила диплом социального работника. Больше всего на свете ей нравится помогать людям. Работала с трудными девочками-подростками, матерями-одиночками, учила находить общий язык жителей большого дома. Однажды поняла, что нужно заняться собой. Начала читать книги по философии, религии, оккультизму. Так оказалась здесь. Полтора года прожила в качестве студентки, постигая духовные науки, проникаясь атмосферой коммуны. Теперь она становится официальным членом «Финхорн Фаундейшн». Но в ее жизни ничего не меняется. Будет жить все в том же маленьком бунгало в дальнем конце караван-парка, без газет и телевизора. Вместо них — книги, друзья, природа.

Природа для Уллы — главный источник духовного творчества. По ее мнению, работать на земле — значит самым прямым и естественным образом придавать божественным идеям материальное воплощение. Бога Улла чувствует во всем: в деревьях и растениях, в камнях и воде... Для нас, участников «экспириенс уик», она придумала несколько специальных упражнений, от-

крывающих души навстречу природе. Сядьте возле любого цветка в саду, говорит она, закройте глаза, почувствуйте его через запахи, осязание, звуки. Мы разбредаемся по поляне и надолго замираем возле цветущих кустов, и Улла, красивая, пышущая жизнью, как сама Флора, смотрит на нас с надеждой...

Крису Пауеру тридцать один год. В 1984 году, выбравшись из своей родной Новой Зеландии в туристическую поездку по Европе, он случайно заехал в Финхорн. От увиденного здесь остолбенел. Сначала решил, что такое не для него (дома остались семья, хорошая работа, вполне обеспеченный, налаженный быт), а когда уехал из коммуны, почувствовал, что без нее уже не сможет. Вернулся, два года провел в статусе студента, сейчас член коммуны, отвечает за гостевые программы.

Дело в том, что в «Финхорн Фаундейшн» приезжают не только для участия в недельном тренинге. Кто-то хочет просто познакомиться с коммуной, кто-то — принять участие в семинарах и конференциях, которые посвящаются самым разным проблемам: планетарному мышлению и сохранению здоровья, семейным взаимоотношениям и эзотерической философии. Есть и такие, кто не прочь бесплатно поработать на благо коммуны. Исключительно силами энтузиастов в Финхорне построены гостевой центр, столовая. А в прошлом году всего за шесть месяцев вырос новый двухэтажный дом для Айлин. Крис регулирует потоки гостей коммуны, следит, чтобы каждый занялся тем, что ему ближе. Караван-парк уже не в состоянии вместить всех приезжающих. Часть гостей живет неподалеку — в Клуни Хилл. Да-да, в том самом отеле, где когда-то бездомные и безработные Айлин и Питер нашли себе временное пристанище. Теперь отель — часть «Финхорн Фаундейшн».

Здесь, в Финхорне, Крис встретил Тину, и она стала его женой. Свадьбу праздновали всей коммуной. Тина похожа на сказочную принцессу — маленькая, хрупкая, с пшеничными локонами ниже пояса, с голубыми глазами невероятной величины.

В один из вечеров, когда мы, как обычно, собираемся вместе с Тиной и рассказываем друг другу, как прошел день, появляется Крис, чтобы поведать о своей внутренней эволюции, приведшей его в коммуну (здесь считают, что личный опыт коммунаров всегда интереснее, чем абстрактные рассуждения о самосовершенствовании). Тина смотрит на Криса откровенно влюбленными глазами. Крис берет в руки гитару и поет. И мелодия, и интонация песен так знакомы, что я не замечаю чужого языка, будто сидим мы дружеским, задушевным кругом не где-то на севере Шотландии, а в хорошей московской квартире...

На встречу с Айлин Кэдди я шла волнуясь. Увидеться с ней — все равно что, приехав в Америку, повидаться с Колумбом. Меня встречала на пороге дома женщина, источающая непонятный свет. То ли он шел от ее белых волос и светлой одежды, то ли сквозь вечные облака неласкового северного неба выглянуло солнце.

— Коммуна — это моя семья,— говорит мне Айлин.— И как от всякой семьи, я от нее иногда устаю. Но потом снова в нее возвращаюсь. Видимо, жизнь дана мне для того, чтобы получить этот опыт. Когда человек меняется сам, он меняет и людей вокруг себя. Радостно видеть, как дают всходы семена, которые ты когда-то бросил в землю. У меня восемь детей и шестнадцать внуков, они часто бывают в этом доме... Не бойтесь трудностей, страх — это порождение темных сил. Доверяйте Богу...

...Странное чувство. Мы с Лайзой стремительно покрываем милю за милей, а кажется, будто не двигаемся с места. Всякий раз мы останавливаемся выпить кофе и отдохнуть в одном и том же придорожном кафе из красного кирпича, садимся за одни и те же белые столики, даже чашки подают нам того же цвета.

— Не удивляйся,— говорит Лайза.— Так будет всю дорогу. Монополия.

Я поднимаю голову на вывеску кафе и узнаю уже примелькавшуюся эмблему фирмы. Она обслуживает по всей Англии путешествующих автомобилистов.

Лайза допивает кофе, и мы идем к выходу.

— Людмила, а у тебя не будет неприятностей из-за того, что ты побывала в нашей коммуне?

Повторение пройденного. *«Весной 1933 года в коммуне было населения 300 душ, из них трудоспособных — 110, детей — 190. Школа, на летнее время детский садик, ясли. За 1932 год (второй год переселения) сдано свыше 8 тысяч пудов овощей на Кузнецкстрой. Зимой 1932 года работала теплица, сдано свыше трех тысяч штук свежих огурцов.*

Раз приехал в коммуну председатель горсовета товарищ Лебедев — большой, румяный, сильный человек. Он попросил созвать общее собрание.

Товарищ Лебедев выпустил главный козырь:

— Товарищ Сталин сказал, что в настоящее время в коммунах могут жить или дураки, или религиозные аскеты.

На это Лебедеву ответили:

— Пусть будет так, пусть мы будем дураки, пусть будем религиозные аскеты, но мы хотим продолжать жить коммуной, и в словах товарища Сталина прямого указания о запрещении коммуны нет.

И дальше все пошло, как полагается. Наутро нас повели в Старый Кузнецк в тюрьму.

Темной жутью повеяло в коммуне от этих арестов. Некоторые были спокойны, некоторые содрогались и спали по ночам не дома — кто же хочет неволи?

Из взятых 24 человек в 1937 году никто не вернулся — все погибли. Кроме погибших, еще много членов коммуны и по суду, и без суда были взяты из коммуны — кто ненадолго, кто на десять лет, а кому пришлось отбыть по восемнадцати лет (десять лет заключения и восемь лет ссылки).

Общественная и трудовая жизнь в колхозе «Жизнь и труд» стала переходить на другие рельсы. Стали вливаться в состав колхоза люди со стороны, совсем других убеждений. Вошли в обиход трудодни, нормы выработки и многое другое, чего мы в коммуне не знали.

Коммуны не стало».

* * *

За неделю пребывания в Финхорне со мной никто ни разу не говорил впрямую о Боге. Однако все время чувствовалось, что я нахожусь в духовной коммуне. Утро начинается с медитации в особой комнате, где в центре круга, образованного рядами кресел, зажигается свеча. Перед началом любой работы принято, взявшись за руки, постоять молча с закрытыми глазами, получая благословение на задуманное дело. После завершения работы — тот же ритуал, как благодарность за проведенное в совместном труде время.

С непривычки может показаться, что коммунары страдают излишней восторженностью. При встрече друг с другом они горячо обнимаются, как будто не виделись сто лет. Не стесняются вести себя как хочется: могут дурачиться, смеяться, петь, когда им придет в голову.

Поначалу они кажутся мне слегка сумасшедшими. Ведь ничего подобного у себя на родине я никогда не видела. Даже из детей у нас стараются сделать маленьких старичков: не бегай, не шали, не вертись. Неудивительно, что вырастаем мы такими зажатыми, неуклюжими, неприветливыми.

Стоит немного побыть в легкой, радостной атмосфере коммуны — и начинаешь чувствовать, как неотвратимо размягчаешься, робко вылезаешь из своего панциря. Уже и тебе хочется при встрече обнять друзей и сказать им что-нибудь хорошее. Как это, оказывается, приятно: находиться в поле любви и доброты.

Лучшее время для встреч — ланч и обед. После трудов праведных обитатели коммуны собираются в столовой и, взяв тарелки, обходят столы с разнообразной вегетарианской снедью. Потом подсаживаются за один из больших, сколоченных из досок столов и присоединяются к общей беседе. В центре стола рядом с маленьким букетом цветов — горящая свеча. Она напоминает, что разговор за столом не праздная болтовня, а, может быть, самые важные мгновения дня, потому что свободное движение души влечет нас друг к другу.

С Сабиной мы говорим о ее лошади.

— Его зовут Гром. Да-да, русское имя, не удивляйся. Его привезли в Германию из Казахстана. До этого он никогда не видел велосипед, представляешь? Так испугался... Как маленький ребенок. Лошади вообще тонко чувствуют и очень добрые...

С Карло мы говорим о поэзии.

— Я работаю в министерстве лесного хозяйства, но это не главное. Главное — это сидеть дома и писать стихи. Я люблю уединение, люблю размышлять. Мне все время хочется найти что-то... Трудно объяснить, что... Но ты понимаешь? Стихи мои печатаются, жаль, что ты не знаешь итальянского.

С Май мы говорим о Швеции и Советском Союзе.

— В вашей стране люди сейчас думают, что будут счастливы, если получат много-много машин, видео, красивой одежды. Заблуждение! У нас все это давно есть, но счастья не прибавилось. Напиши об этом у себя.

Мы все говорим об одном и том же. Нет ничего естественнее, чем доверять друг другу. Разве до сих пор не понятно, что жить в любви гораздо легче, чем в ненависти и недоверии?

В программе нашего тренинга игра. Каждый закрывает глаза и представляет себя отдельной планетой. Большой, прекрасной планетой, имеющей собственную орбиту. Мы медленно движемся по залу с закрытыми глазами, стараясь не соприкасаться с другими. Полная свобода и независимость. Как приятно нести в себе огромный, сложный, непохожий на других мир...

Но вот мы начинаем при встрече приветствовать друг друга легким касанием руки. Наши орбиты пересекаются, мы понимаем, что находимся в одной Солнечной системе и подчиняемся одним и тем же законам движения. Это знание помогает нам не чувствовать себя одиноко в бесконечном космосе. Пожатия рук становятся все крепче.

А теперь каждый вовлекает в свою орбиту соседнюю планету и начинает двигаться с ней в одну сторону. Две, три, пять, семь планет соединились в прихотливую цепочку... Передвигаться по залу становится все труднее, галактика разрастается и закручивается все туже. Уже не различить отдельные планеты, наши руки и тела плотно сплетены, и мы можем только слегка покачиваться в такт вдоху и выдоху. Как тепло и безопасно нам в нашей маленькой галактике перед лицом бесконечного космоса...

...Приближение Лондона легко распознать по появлению лондонских такси — самых экстравагантных такси в мире. Скоро мы с Лайзой расстанемся. У меня самолет в Москву.

— Людмила, как ты думаешь, у вас возможно создать коммуну, подобную нашей?

Как жаль, что Лайза не читает по-русски. Иначе бы я достала из сумки «Новый мир» трехлетней давности и раскрыла бы его на записках Бориса Мазурина «Рассказ и раздумья об истории одной толстовской коммуны». Та удивительная сказка, которую я увидела воплощенной в Финхорне, для моей страны тоже была когда-то явью. В том, что история русских коммун трагически оборвалась, наверное, заключается важный урок для будущих поколений. Быть может, именно сейчас, в смутное, тревожное время национальных и политических разногласий, пришла пора вспомнить о толстовских коммунах?

Я расстаюсь с Финхорном, борясь с дурацким комком в горле, стыдясь нежданной сентиментальности. Хотя к чему слезы? Ведь я остаюсь в коммуне, потому что уже невозможно вырваться из нашей общей галактики, в которой есть дорогие сердцу друзья из разных стран, встретившиеся мне в Шотландии, в которой есть мой дом, моя родина, моя планета.

Фотографии предоставлены отделом визуального искусства «Финхорн Фаундейшн».

БОЛЬ ОТЕЧЕСТВА

Анатолий ПРИСТАВКИН

МНОГО ЗАДУМЧИВОЙ ПРЕЛЕСТИ

Историк Токмаков И. Ф. в своей книге (1906 год) о городе Осташкове и его уезде так описывал монастырь Нилову Пустынь: «Вид, открывающийся с озера на монастырь после нескольких минут путешествия, очень живописен. Монастырь, или, собственно, целая колония церквей, куполов, монастырских зданий, башенок и шпилей, красиво утопая в зелени, пестря всеми цветами радуги, раскинулся по берегу озера и по его извилинам...— И далее:— Все это составляет замечательно поэтичный хаос зданий, которому обилие воды и его уединенное положение придают много задумчивой прелести...»

Да, красиво писали наши деды даже для непритязательных к слогу историко-статистических изданий. Да и было о чем. Был богатейший край, населенный крестьянами и ремесленниками и рыбаками и монахами, был образцово-уездный город Осташков с центральной замощенной улицей, с театром, с пожарной командой, одной из первых в России, и добротной кожей, выделанной на многих кожевенных заводах, на мягкой селигерской воде, и был прекрасный монастырь посреди озера, крупнейший и богатейший на всю Россию, так замечательно описанный историком Токмаковым.

История монастыря берет свое начало в шестнадцатом веке, когда, по легендам, преподобный Нил поселился на острове Столбный, соорудил себе келью и тут в трудах и страданиях прожил до 1555 года. На этом месте возник монастырь, составляющий, по выражению Токмакова, «одну из величайших святынь России». Через сто двенадцать лет, когда копали землю под фундамент новой церкви, нашли мощи преподобного Нила. Этот день, 27 мая, становится престольным праздником. Сюда съезжаются в начале лета до сорока тысяч богомольцев со всех концов России.

Съезжались, будет точнее.

Путешественник Н. Я. Озерецковский, географ, член Академии наук, еще в 1814 году посетил и описал эти места. Из его рассказа явствует, что монастырь, состоящий из шести церквей и многих других строений, имеет собственные хлебопашество, скотоводство и рыбную ловлю. Набожные крестьяне снабжают Пустынь разным хлебом и харчем, везут туда овес, горох, масло, конопляное семя, холст или что-нибудь другое. В вознаграждение за такие подаяния пустынники принимают гостей ласково, кормят их, а за молебны получают с них установленную плату. При сих вспоможениях для прокормления немногих монахов Пустынь имеет богатые владения на других островах и на матерой земле, имеет дачи лесные, пашенные и сенокосные... Число всех людей, к Пустыни принадлежащих, простирается до четырехсот...

Имеются в виду не монахи, а закладные крестьяне, их отдавали на срок или бессрочно окрестные помещики во спасение собственной души.

Хочу отметить сразу, что, располагаясь в центре такого замечательного озера, как Селигер, монастырь рыбных промыслов сам не имел, уж так сложилось исторически. По указу Великого Государя царя и Великого князя Алексея Михайловича, список с грамоты которого прежде хранился в Осташкове в приказной избе, «впредь для спору и ведома приказным людям и домовым патриаршим крестьянам... озером Селигером с плесами и с луками и с разливы, и с заводями и с протоки и с острова и со всякими угодьи отцу нашему и богомольцу святейшему Патриарху Иосафу московскому и всея России, и впередь, кто волею Божию в дому Пресвятые Богородицы иные святейшие патриархи будут, владеют по сей нашей Великого Государя жалованной грамоте и по писцовой книге...»

А еще там вот что написано: «...И теми рыбными ловлями владеют патриарши же домовые, осташковских слобод крестьяне и сторонние люди из оброку, а помещикам и вотчинникам Новгородским и Ржевским, которые живут около того Селигера, опричь боярина нашего князя Бориса Михайловича Лыкина, в том озере Селигер рыбы ловить не указано...»

Боярин же Лыкин, насколько я понял, заслужил такую честь вовсе не по блату, а за свои воинские заслуги в освобождении Москвы от поляков в смутные времена.

Вряд ли необходимо доказывать облагораживающее воздействие такого просветительского и духовного центра, как Нилова Пустынь, на развитие города Осташкова и всего края. Сюда стремились просвещенные россияне, и драматург Островский тут проплывал на пароходе, и известный живописец Шишкин запечатлел исток Волги и золотую сосну у монастыря Ниловой Пустыни, здесь имел дом писатель Алексей Толстой.

Вовсю кипела жизнь. В округе и в самом Осташкове строились барки, ковались топоры, вязались сети, изготавливались глиняные изделия и бочки для соления, ткались полотно и парусина для флота, сеялись хлеба.

В 60-е годы прошлого века по заданию прогрессивного журнала «Современник» в эти места приезжал молодой писатель Василий Слепцов. Задание редакции было однозначным: вывести на свет Божий социальные болезни города и доказать, что больница, библиотека, театр и прочие культурные достижения маленького уездного городка — не что иное, как показуха, а люди здесь страдают так же, как и везде. Он и доказал, и все сплошь опорочил, и раскритиковал. Но был Василий Алексеевич человек, по-видимому, одаренный и, кроме критики, оставил массу точных наблюдений и зарисовок, в том числе и о монастыре. «По небу неслись темные тучи, пробиваясь время от времени, и осеннее солнце вдруг обдавало холодным блеском сероватые волны. Гребцы, щурясь и отворачиваясь от него, с мокрыми волосами, дружно налегали на весла, и лодка наша, покачиваясь и поскрипывая, быстро неслась по озеру. Наконец слева из-за синего бора показался остров, необыкновенно красиво выступивший из воды, с каменными берегами и лесом позади. Через четверть часа долетел до нас заглушаемый ветром далекий благовест, а еще минут через двадцать мы входили в пристань и поспели к обедне...»

Что это была за обедня, сейчас лучше бы и не рассказывать, я вспомнил о ней, когда увидел, как в мертвом монастыре в 91-м году два послушника, Александр и Максим, скромно откушали ухой, поймав десяток окунишек, хлеб и постное масло у них, слава Богу, были. Предложили и мне, но я отказался, взял только хлеб, он тут тоже по талонам.

А вот как угощали писателя Слепцова в гостях у архимандрита. «Явилась,— пишет он,— перед нами уха стерляжья, налимы маринованные, налимы отварные, налимы жареные, грибки и соленья разного рода и отличное монастырское пиво...»

А вот что увидел Василий Алексеевич в монастыре еще: «7 каменных церквей и 25 других каменных зданий... Несколько десятков пудов серебра, драгоценных каменьев и множество золотых вещей. Здесь бывает питейная выставка пять раз в год. Кроме братии, живет в обители довольно значительное число трудников, наемных рабочих и вкладных людей...»

Лет примерно через сто после Слепцова повезло мне впервые приехать сюда, на Селигер, не от какого-то журнала, конечно, а самому по себе: меня, больного туберкулезом, вывезли сюда мои друзья по работе. Я был потрясен открывшейся мне красотой: бесконечные голубые плесы, синие лесные дали, когда за одним горизонтом открывается еще один и еще один, и так без конца. И над этим миром тишины и покоя — лишь Бог... Впрочем, нет. Бога тут уже не было. И ничего уже не было из того, что так понравилось господину Слепцову; захирел Осташков, исчезли его театр и пожарная команда, единственный кожевенный заводик с допотопными машинами, оставшимися еще от бывших хозяев, не мог давать кож, ибо им неоткуда взяться, окрестные деревни советская власть извела...

Это в прежние времена осташи говаривали: море под корову! Оно и текло. А ныне-то ни коров, ни моря молочного. По талонам иногда в Светлице, в здешнем магазине около Ниловой Пустыни, что-то и дадут, если привезут, конечно. А рыбы свежей в продаже я не видел здесь никогда. Это прежде был «обжорный ряд», где торговали знаменитыми пирогами с рыбой.

И монастырь разорен, как Мамай прошел по его церквам. Да что монголы, они в какие-то времена доходили до Селигера, но после них отстраивались и восставали из пепла. Но и они не оставляли после себя такого разора, как «родная» советская власть. Вот после нее, как утверждают специалисты, увидевшие, в каком виде ныне монастырь, ничего уже в прежнем виде восстановить нельзя. То есть, если всенародно поднапечь, что-то можно сделать, но это уже не будет тот монастырь в богатстве и красоте, который открывался с воды нашим предкам и критически настроенным писателям.

А вот как описывают в брошюрках последние дни монастыря:

«Революция подорвала силу монахов, но они группировали вокруг себя кулаков, организовывали контрреволюционную работу. В 1919 году в монашеских кельях были обнаружены склады оружия, а у настоятеля золото и другие церковные ценности, выкраденные из церквей. В 25-м г. монастырь ликвидировали, разместили дом инвалидов. 36-й г.— детская трудовая колония для правонарушителей...» (Минлос, «Селигер», путеводитель).

Ну, можно добавить, что после коммунистов держали тут в заключении пленных поляков и где-то неподалеку их расстреляли.

А в общем-то, по отзыву свидетелей, а некоторых я еще застал в живых, никаких складов оружия, конечно, не было, по приказу Ленина ограбили золотые запасы, а когда везли серебряную раку, вытряхнув из нее мощи святого Нила, то сперли наши богоборцы-ленинцы по пути крышку серебряную и утопили ее в Селигере. Где-то она там лежит, на самом дне. А впрочем, может, это легенда...

Прощайте, елочки-сосеночки,
Березовский рядок,
Прощайте, милые девчоночки,
Сажусь на пароход...

Так пели уже при мне; драгоценные осколки давней, порушенной чьей-то жизни, что мы о ней теперь знаем?

Вот захотели бы вы, к примеру, как Василий Алексеевич Слепцов, проплыть от Осташкова до монастыря на лодке, намучились бы вдосталь. Потому что тех самых замечательных лодочек — осташенок (их еще звали «водовики») сейчас не делают, а нынешние, фанерные, им не чета. А синий бор, из-за которого увидел Слепцов впервые дальний монастырь, не что иное, как остров Городомля, на нем когда-то отдыхали и развлекались дореволюционные осташи. А вот после революции в какие-то времена создали здесь секретный институт, и там под землей выводят разных страшных бактерий... Правда или нет, я не знаю. Секрет есть секрет. Но не дай Бог в ненастье, как однажды со мной случилось еще в семидесятые годы, высадиться тут на их на секретный берег, утыканный грозными дощечками... Выволокут за ноги из палатки с собаками, паспорт потребуют и выдворят...

И грабят ныне более прозаически, мне приходилось наблюдать, как разоряли Кравотынскую церковь, по историческим меркам, это уже недавно — в шестидесятые годы. Кстати, именно тут жил вышеупомянутый боярин Лыкин, герой войны, может, он и церковь в память тех героических времен поставил? А тут приехал грузовик, судя по всему, из вторсырья, выкинули из окладов древние образа, а те оклады в серебре и золоте отвезли в Осташков... И вся недолга. Возможно, и купола серебряные содрали — на Селигере не золотили, а серебрили луковицы, для лучшего сочетания с водой.

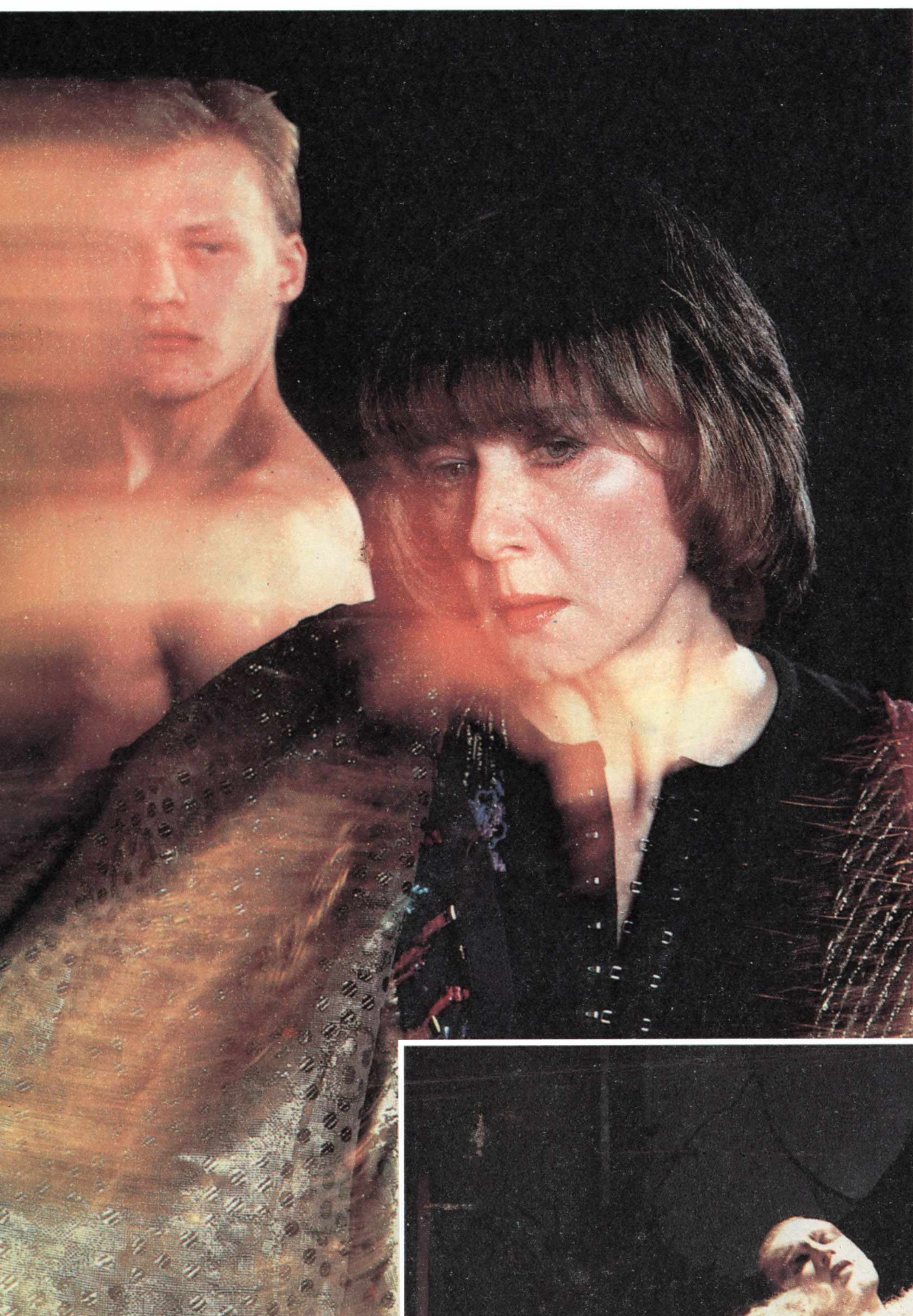
Когда-то в Осташкове висела на входе города надпись-назидание, которая гласила: «Кто нарушает правила, установленные для общего блага, тот есть общий враг всех». Это бы нам могло пригодиться и для новой конституции РСФСР. Но в том же Осташкове протоиерей Андрей Колоков писал сочинения с такими названиями: «Любовь и мир, или Возбуждение к любви и миру между жителями града» (1801 год). А это уже хорошо бы вывесить во всех городах, где ожесточение и жестокость между жителями града отбрасывают нас к веку Смутного времени. Тогда, кстати, было похожее, когда первый глава Осташкова целовал крест тушинскому вору, а после его падения, как ныне после августовского переворота, принесли Шуйскому повинную, и новый выборный человек Михайло Сивков подписался под актом избрания первого Романова на престол от города Осташкова. Надеюсь, за Ельцина он тоже бы голосовал.

...Встав ненадолго рядом с монастырем и соорудив палатку, пошел я по привычке побродить по святой монастырской земле, уже зная, что объявлена Нилова Пустынь как церковная собственность, а значит, будет со временем тут рачительный хозяин и, может, когда-нибудь вернутся и маринованные налимы в трапезной. А пока что школьники сгребают мусор, да скромные молодые послушники продают в свободное от многих дел время образки святого Нила. Поверьте, я постоял и специально посмотрел, как люди покупают, как кладут в крошечный ящичек, прибитый у входа во временную обитель нынешних хозяев, деньги на восстановление храма. Отдают, как берут. И в этом вся правда.

Это ведь нужно нам, нам. Мы должны восстановить селигерское чудо, чтобы стать лучше, чтобы поверить в себя. И тогда вернется на нашу истерзанную землю Божья благодать, и если не мы, то наши дети увидят снова, как, пестря всеми цветами радуги, встретит их Столбенский остров и колокольный благовест разнесется над вечными водами Селигера.

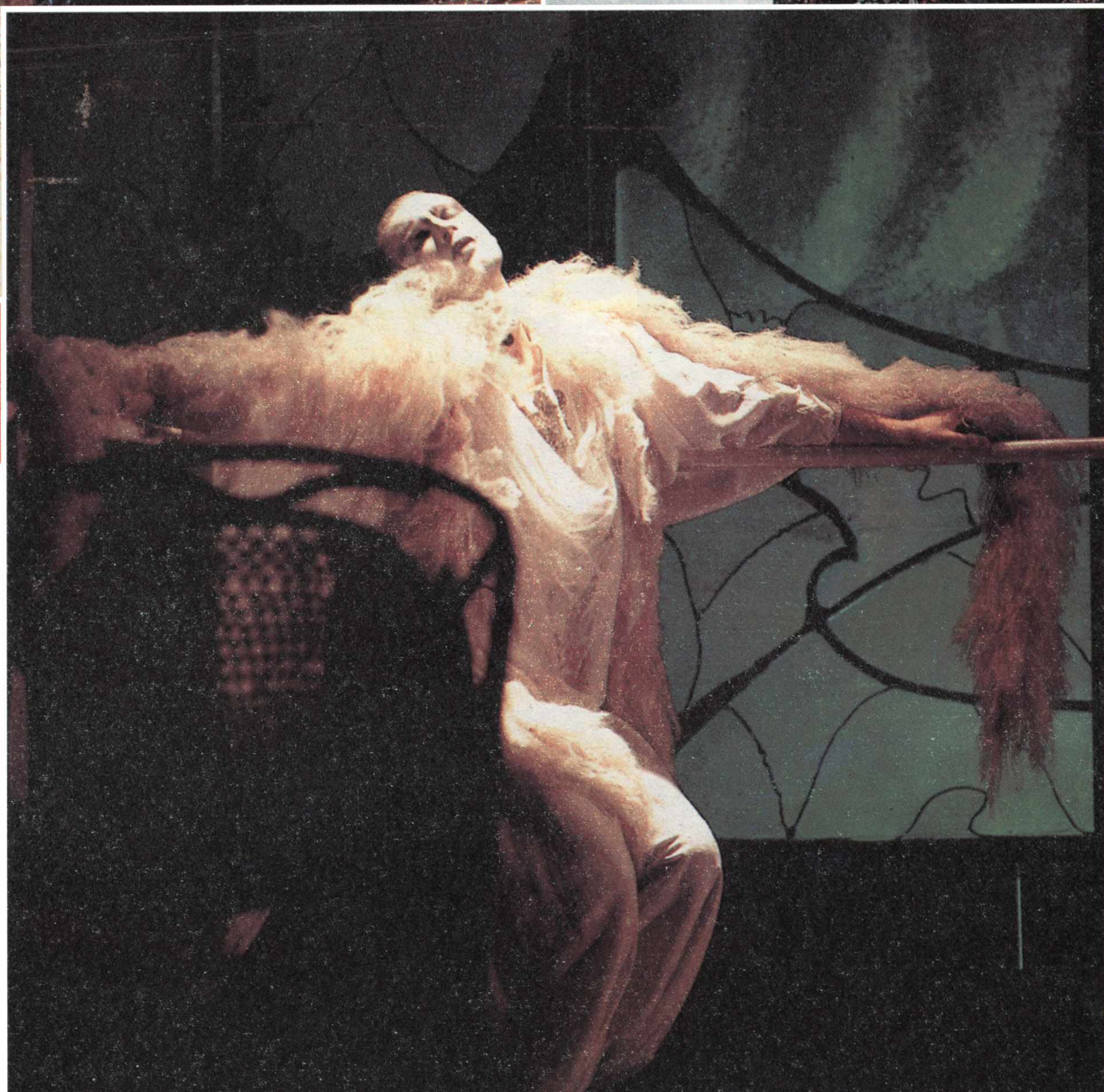
Фото Сергея ПЕТРУХИНА

ОГОНЁК



ОГОНЁК

ЗАКУЛИСЬЕ



Сергей НИКОЛАЕВИЧ

ГАЛА-ВИКТЮК

Говорят, что его стало слишком много. Что он везде, и это начинает даже надоедать. Говорят, что его новым спектаклям не хватает души, а ему самому — вкуса и меры. Говорят, что он эклектичен, манерен, гонится за модой, что он всех обманывает и ничего не доводит до конца, что он полюбил деньги, шейные платки от Гермеса и цветные пиджаки от Богги и Валентино, что он работает теперь только за валюту, а артистка N копит нужную сумму в надежде упросить его поставить что-нибудь с нею в следующем сезоне. Кажется, какая-то старая пьеса Теннесси Уильямса. Говорят... Впрочем, чего только не говорят о Романе Виктюке!

И не нужно злорадствовать по этому поводу. Судьба всех знаменитых и выдающихся — быть сюжетом для сплетен, поводом для споров, ежеутренним романом с продолжением. А Виктюк — знаменитый, и выдающийся, и, что совершенно невероятно по нынешним временам, чрезвычайно работящий. В одной Москве сейчас идет у него десять спектаклей. А в прошлом сезоне еще были Италия, и Финляндия, и Королевский театр в Стокгольме. И все он успевает. И всюду любим. И все ждут. Сплетничают, скандалят, обижаются, бьются в истерике. Но ждут. Ждут как маленькие. Потому что куда деваться? Виктюк сегодня один.

Помню, как однажды Галя Боголюбова, знаменитый московский завлит, жаловалась на него с хриплой усталостью в голосе. Бывает, зайдет в театр, оставит по дороге свой пиджак в директорском кабинете. Все думают, что он репетирует или где-то поблизости чай пьет. А потом выясняется, что его нигде нет. И телефон дома не отвечает, и в соседнем театре, где он одновременно что-то тоже ставит, его давно не видели. И, может быть, его нет в городе, а может быть, и в стране... Никто не знает. И Галя, выкурив полагающиеся полпачки, начинает дрожащей от гнева рукой накручивать диск, с ходу заучивая наизусть коды Львова, Киева, Калинина, Вильнюса.... Ну, где еще может быть этот Виктюк? И только его пиджак, висящий на спинке стула, вселяет смутную надежду — все обойдется, все будет хорошо. Черный такой, не новый, болгарский, какой носили в 70-е невыездные представители московской интеллигенции, этот пиджак действует успокаивающе, лучше элениума. И на завлитов, и на актеров, и на директоров. Про себя они знают: Виктюк вернется, Виктюк не подведет. В последний момент он вынырнет откуда-то из пыльного бархата, отряхая снег или осенние листья с зонта, улыбнется обиженно, скажет что-нибудь вроде: «Ах, русский, ты сумасшедший! Как же я мог не прийти?..» И спектакль будет.

Вот и теперь я не знаю, где вы, Роман Григорьевич? В каком Риме, Стокгольме или Нью-Йорке вы объясняете без переводчика, как надо умирать от любви? По вашему номеру чей-то не слишком любезный голос заученно отвечает: «Его нет, его нет, его нет...» Но ваша старая кожанка по-прежнему висит на видном месте. Как в музейной витрине комиссарская куртка великой Алисы Коонен. Помните, вы рассказывали мне, что на выпускных экзаменах в ГИТИСе она вам одному поставила пятерку с плюсом за мастерство.

Скоро будет представление в вашу честь. Все в сборе. И Алла здесь, и Марго прилетела со съемок. И Эрик сегодня в голосе. И мальчики из «Служанок». Я начну этот спектакль без вас. А вы придете на поклоны, если захотите. Или не придете, как угодно! Уже третий звонок. Свет гаснет. Занавес...

I. ДЕТИ

Декорации первого акта изображают старинный европейский город. У него фасад в стиле облупившегося модерна, а внутренний двор в стиле русского критического реализма. То есть очень бедно, но чисто. Кое-где еще выбиты стекла, на балконах развешано белье. Видно, что война была. Была недавно. Потому что на сцене одни дети и женщины. При детях говорят о депортациях, ликвидациях, арестах, расстрелах, бандеровцах. Иногда после уроков они сбегают в кино, в другую жизнь, черно-белую или цветную, обжитую, заселенную красавицами и красавцами, где убийство, любовь и чечетка, и прекрасная женщина в красном боа и сетчатых чулках поет на полузабытом немецком, что сегодня ночью ей не будет холодно одной. «Девушка моей мечты». Марика Рёкк...

Я не знаю, кто из этих детей, сидящих в партере львовского «Паласа», откликнется на имя Роман. Но уверен, что мало у кого из наших нынешних театральных режиссеров взаимоотношения с собственной памятью детства так интимно коротки и так предельно упрощены, как у Виктюка. Его спектакли — это всегда немного сон о детской мечте, о детских искушениях и страхах. «Вспоминать» означает для него то же самое, что «фантазировать» и «ставить». И эта всегдашняя его любовь к модерну, ко всем этим дамским изгибам, извивам, изломам, отразившаяся и в надтреснутых зеркалах сатириконских «Служанок», и в стеклах вахтанговской «Анны Карениной»,— что, как не дань воспоминаниям об улице детства, сплошь застроенной в этом буржуазном и декоративном стиле. Модерн облупился и осыпается вместе с довоенной штукатуркой. Но линия его живет. Переменчивая, стремительная, она закручивает спиралью судьбу нашего героя, гонит в семнадцать лет из дома в Москву, приводит в Собиновский переулок, один из главных театральных адресов столицы, чтобы в конце концов нежным изгибом чьей-то неведомой девичьей руки, приколовшей к дверям короткий список из нескольких имен будущих безработных режиссеров, обозначить решающий поворот. Он в ГИТИСе. Какое счастье! У счастья бурый цвет масляной краски, в которую выкрашены стены аудитории, и вкус картошки, сваренной в общаге на Трифоновской, где цементный пол, койки, гитары и вид из окна на Москву-Товарную. Типичная декорация для начала биографического повествования о жизни будущего шестидесятника.

Странно, но почему-то Виктюк в эти декорации не вписался, не нашел он себя и в общем потоке мыслящего, мечтающего, страждущего правды и справедливости, идеального «шестидесятничества». С самого начала они были друг другу чужими, эти его соседи по койкам на Трифоновской, по экзаменационным партам в Собиновском. Обжигая пальцы, он будет есть с ними их картошку, подпевать их гитарам, спорить об итальянском неореализме и Пикассо. Потом будет ставить их пьесы, поднимать тосты на их юбилеях, произносить последнее слово на их панихидах, но внутреннего родства, близости, понимания, мне кажется, между ними не было и нет. Тогда его разделял с ними их неповрежденный идеализм и пафос, их нетравмированная гражданственность, их привычка к коммунальной тесноте, бедности, супу из пакетов и газетам на полу. Теперь — их предпенсионный реванш, их ритуальные игры в большую политику, их воспоминания о былом задоре и новые иллюзии.

Все шестидесятые его носит по стране. Он перепробует множество сцен. Почти не ставит классику — только современников. Володин, Рощин, Радзинский, потом Вампилов, потом Зорин. Он ищет свою пьесу, как женщина перед ответственным свиданием выбирает себе платье. Деловито, целеустремленно, вдохновенно. Ему ничего не подходит. Почти ничего не идет. Но он не отчаивается. У него легкий характер. Каждый раз перед ним конкретные задачи, и каждый раз он пытается их решить подручными средствами: актеры второго состава, костюмы из подбора, наспех сколоченные декорации из вторсырья. Эта фанера, бязь и тюль, эта бедненькая лирика вздохов по лучшей жизни, эти намеки и обмолвки, провоцирующие ярость начальников и неизменные аплодисменты зрителей, эта общая атмосфера мучительной недоговоренности, нервной взвинченности и всеобщей бесприютности — во всем угадывались бессознательная зависимость и тайное влечение к театру Эфроса.

Вот и возникло великое имя Анатолия Васильевича.

Луч прожектора нашаривает пустое место в партере. Звучит вальс из незабвенных «Трех сестер» 68-го года — грустная, изящная, чуть легкомысленная мелодия. Она увлекает нашего героя в одиноком танце. Нет, это совсем не тот вальс, который кружил героев Эфроса в первом акте Ирининых именин. Этот танец, как последний привет, воздушный поцелуй, прощальный взмах руки с другого берега, адресованный той жизни, которую из спектакля в спектакль инсценировал Эфрос, и той дружбе, которая связывала обоих режиссеров. В подтексте творческих и личных отношений Виктюка и Эфроса — сложный патерналистский комплекс. Неутоленная сыновняя жажда у одного, неутоленная страсть к учительству у другого. При этом Эфрос ничему Виктюка специально не учил, а тот никогда не подражал ему, обладая, несомненно, более важным даром — вдохновлять и радовать мастера, близ которого работал.

Свой «Вишневый сад» он начал репетировать в студии при Центральном детском театре уже после смерти Анатолия Васильевича. Ни до, ни после он не ставил Чехова, ни до, ни после он не работал с детьми. Все роли, кроме Фирса, которого согласился сыграть Геннадий Хазанов, были распределены между студийцами — детьми десяти-тринадцати лет. Сейчас уже не вспомнить, почему он взялся тогда за «Вишневый сад». Может быть, это была попытка осознать наступившее с уходом Эфроса сиротство? А может быть, Чехов позволял вернуться в непотревоженный мир детской игры?

«Детство мое, чистота моя!» — с какой пронзительностью звучала, должно быть, эта реплика в устах тринадцатилетней девочки. А еще она говорила про вишневый сад, про свою покойную маму, про Париж и любовника, который ее обобрал... И то, что Раневскую играла хрупкая нимфетка с кукольным голоском Мальвины, и то, что Гаев и Лопахин предстали вихрастыми мальчиками в школьной форме на вырост, что все они были ровесниками из общей детской, с общими воспоминаниями и общим сиротством — это создавало подлинно чеховский образ человеческого единства, всеобщего родства, кровного и некровного, оживающего в те кульминационные моменты, когда приходит несчастье. «О, мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!» Девочка плакала, утирая кулачком в маминой перчатке потекшую тушь, а мальчик утешал ее, сам задыхаясь от слез и едва сдерживая рвущийся крик: «Сестра, сестра моя!»

Зафиксируем это последнее объятие, этот последний жест. В нем — потерянность детской души перед жестокостью мира, перед страданием и смертью. В нем — страх и ужас Тильтиля и Митиль, заблудившихся в мире взрослых. В нем — память. Неубитая память детства самого Виктюка, сохранившая как самое сильное и самое страшное воспоминание — тюремный двор за стеной его львовской школы, бывшей школы св. Анны, где он проучился десять лет. Колючая проволока, русский охранник с калашниковым наперевес, шарканье арестантских подошв, лай собак, чьи-то тихие, почти неслышные голоса — вот она, эта жизнь по ту сторону, жизнь вблизи смерти, жизнь на грани небытия. О ней писал Чехов, ее попытался срежиссировать Виктюк. Дети за тюремной стеной в ожидании расстрела — вот что означала финальная мизансцена его непоставленного «Вишневого сада». Спектакль так и не вышел. С тех пор прошло немало времени. Юные исполнители выросли и сейчас уже, наверное, не помнят своих реплик. Вряд ли все они станут актерами. Но перед тем как сойти с нашей сцены, пусть еще

Сцены из спектаклей Романа Виктюка: «Федра» — Алла Демидова и Алексей Серебряков; «М. Баттерфляй» — Эрик Курмангалиев; «Служанки» — Александр Зуев
Фотографы: Л. ЗИНКЕВИЧ и В. ПЛОТНИКОВ

немного постоят здесь без слов. Беззащитные, как и все мы, перед собственной судьбой и в то же время оберегаемые от ее первых ударов искусством их первого режиссера.

II. ЖЕНЩИНЫ

Нужен высокий помост.

Лучше — подиум, как на показе мод, чтобы самые невыразительные ноги выглядели стройными, длинными и обольстительными. Нужна музыка. Можно классическую. Популярную. Но лучше — эстрадную. Со словами. Иностранными. Непонятными, но не нуждающимися в переводе. Кто не знает эстрадного эсперанто любви: «Love you, ti amo, je meurs, je n'en peux plus...»

Конечно, нужен свет. Все дело в свете.

Неяркий, приглушенный, искусно лгущий, умеющий скрывать возраст, плохой цвет лица, скверный характер, а главное — умеющий делать незаметными жесткие складки у губ, в которых затаилась вечная готовность к бою, к отпору, к борьбе. А борьба всегда за одно и то же — за этот подиум, за рассеянный свет и расслабленную музыку, за перья и шелк, за поддельный жемчуг и поддельные слова любви, за подлинные страсти и подлинный шанс только здесь наконец и ощутить себя Женщиной, любимой, желанной, прекрасной.

«Kennst du das Land wo die Zitronen blüh'n?» *

Этот край похож на сказочный пустынный берег, по которому принято ходить на высоких каблуках в бальных платьях со счастливым лицом и гордо поднятым подбородком. Этот край похож на сказочный сон, где гибнут люди, рушатся стены, сгорают страсти. Но не стоит волноваться — умершие воскреснут, дворцы восстанут из руин, а от былого пожара — один прохладный поцелуй в щеку и цветы в целлофане для любимой артистки. Этот край больше всего похож на гарем, но не восточный, райский, эротичный, весь в коврах и в крови, а фантастичный, иллюзорный, бестелесный, весь из зеркал, бумажных цветов и осыпающегося дождя конфетти. Только, кажется, дунь — и растает в воздухе. Сходство с гаремом в одном — много женщин. Очень много. Юных, стареющих, знаменитых, рвущихся к славе, умных, тонких, глупых, полных, холодных, темпераментных, непредсказуемых, невероятных, необыкновенных... В общем, очень много женщин. И все они разные. И для каждой из них здесь припасены роль, и нежное прозвище, и замусоленный леденец из бездонного кармана кожанки, и возглас из тьмы времен: «Только так! Гениально! Божественно! Умница!»

Ну, конечно, это он — Роман Виктюк. Кто же еще? Кому еще в нашем театре нужны все эти растоптанные камелии? Он — их преданный воздыхатель, их bekami, их главный спец и верный конфидент. Мужчина, с которым неопасно быть слабой, неумной и даже не очень молодой, которого можно посвятить в самые страшные тайны, поделиться самыми больными проблемами, а главное, доверить последнюю ненаглядную ценность — свое лицо. Он все подправит, подсвежит и подкрасит, а то, чего нет и не было никогда, нарисует заново — точно подобранным светом, искусно наложенным гримом, просчитанной до миллиметра мизансценой.

Здесь ему нет равных. И каждый спектакль как признание в любви, и каждая новая роль — словно молниеносный росчерк модельера-провидца, диктующего моду сезона, стиль года, направление ближайших лет. При этом его «модели» невозможно тиражировать, они все уникальны, единственны и неповторимы.

...Из-за кулис слышен легкий босоногий бег. И на подиуме возникает женский силуэт в просторном балахоне. Откровение 70-х — царевна-битница, хиппствующая самозванка Марго. Простоволосая, необузданная, безумная. Как ветер раздувает костер, так ее прославленная рыжегривая красота становится только ярче от виктюковских софитов. Никогда еще, ни у Тарковского в «Зеркале», ни у Авербаха в «Монологе», она не была так прекрасна, как в той давней моссоветовской «Царской охоте». Виктюк точно уловил тенденцию времени, почувствовал потребность в каком-то сильном лирическом потрясении, эротическом переживании, если угодно, шоке, способном вывести из дремотного оцепенения телевечеров и радиополдней. В этой пришелице из XVIII века было что-то доисторическое и, безусловно, современное. Не то античная вакханка, не то классицистская дева ручья, не то Айседора Дункан, не то Алла Пугачева. На «Царской охоте» Виктюк впервые опробовал свой метод, построенный на неуловимом сочетании изысканной театральной стилизации и наивного, простодушного китча, на смешении чистых, незамутненных вакхических красок и наглых, ослепительных цветов «Техниколора». Все на контрасте, на внезапных перепадах, переходах от исторической мелодрамы к костюмному шоу, от возвышенной театральной сказки к грубой театральной лжи. Виктюк не боится актерских провалов, перепутанных реплик, нерасслышанных слов. Он знает — это театр, всего-навсего театр. Нужно только помнить о ритме, дыхании, которого должно хватить на весь спектакль, о волосах, чтобы не закрывали лицо. И еще — хорошо бы не сфальшивить на первой фразе. «ТОЛЬКО ТАК! ГЕНИАЛЬНО! УМНИЦА!»

...Звучит «Манчестер-Ливерпуль» — заграничная мелодия из советской программы «Время». На подиуме — «три девушки в голубом». Имена не имеют значения. Девушки и девушки. На одной — «кофта сверкающая», на другой — «рубаха смертная», третья в «алансонских кружевах». «Petrushevskay style». Запрещенные модели начала 80-х. Виктюк первым рискнул продемонстрировать их на наших подмостках. Он скроил их из косноязычных обрывков разговоров, из лоскутов бессмертного коммунального карнавала, из бреда и тоски нашей жизни. Главный эффект спектаклей Виктюка по Петрушевской заключался, как мне кажется, в том, что быта у него почти не было. Как это ни парадоксально, их основу составляла музыка. Музыка театрального сочинительства. Из ничего, буквально из ничего — из мелодики родимой речи, подслушанной в очередях, на вокзалах и кухнях, из игры профессионалов и неигры любителей, из усыпляющего бормотания программы «Время». Первое ощущение от его «Уроков музыки» в ДК «Москворечье» — блистательный экспромт, срепетированная импровизация. Потом пришло понимание — не экспромт, не импровизация, а какой-то новый, неведомый до сих пор театр. Захватывал текст. Волновали непоставленные, неактерские голоса. Тревожили душу все эти таинственные «trio infernal» — и в «Уроках», а позднее в «Коломбине», в «Чинзано»: часто — две женщины и мужчина, реже — двое мужчин и женщина, еще реже — три женщины, три девушки, три сестры по несчастью («День рождения Смирновой»). Их заплаканные глаза, их молчание, их нетрезвые разговоры, их голоса — надтреснутое контральто, утробное меццо, жалобное сопрано. Вступая по очереди друг за другом, сливаясь в трио и выпевая каждая свое «соло», они заклинали друг друга и нас, что «жизнь неистребима», но их усталые, погасшие лица свидетельствовали о другом. «Истребима, истребима»,— кричали преждевременные морщины и поникшие плечи. «Истребима, истребима»,— твердили мизансцены Виктюка, бессильно кружившие его героинь вокруг рассыпающихся старух, вокруг никак не выздоравливающих детей, вокруг чужих мужчин, уставившихся в телевизор. Белый танец в домашних тапочках. Одинокий танец с единственным партнером на троих — импортной бутылкой с глянцевой наклейкой «Cinzano».

Девушки исчезают одна за другой под все тот же «Манчестер-Ливерпуль», а на подиум выезжает красный «мерседес» с открытым верхом. За рулем — Люда. Дама без камелий. Без сантиментов и без иллюзий. Женщина, которая может позволить себе все или, во всяком случае, очень многое.

Все оплачено — и безумные туалеты, и безумные скорости, и безумные авантюры. При этом Дама, как никто, умеет хранить хладнокровие и непроницаемое лицо. У нее немного сварливый голос, в котором слышится затаенная обида: как всем богатым, ей кажется, что ее хотят непременно обмануть, воспользоваться женской доверчивостью и деньгами.

Коллизия, которую Виктюк успешно выстраивает для нее в пространстве салонной мелодрамы Рэттигана,— это вечное несовпадение облика и натуры, характера и судьбы, желаний и возможностей. Уверенной, ледяной рукой она крутит руль — орудие всей своей несчастливой жизни,— жмет изо всех сил педали мелодрамы, ловко минуя опасные бездны страсти и порока, осторожно объезжая крутые повороты запутанных любовных сюжетов, не задерживаясь на темных перекрестках, где то и дело возникают из тьмы, выхваченные светом, фигуры мужчин, вышедших на ночную охоту.

«Мерседес» уезжает. Мужчины остаются. Молодые преступники. Бицепсы, бритые затылки, трехдневная щетина. Волки, волки, настоящие волки. Резкий, как вспышка магния, свет. Вагнеровский ужас в оркестре. На помосте — Алла. На ней черное пальто Цветаевой и траурное с красным подбоем платье Федры. Трагический силуэт 80-х. Царица-нищенка, царица-изгнанница. Парящая фигура на черном на фоне таганских кирпичей и полуголых качков. Неловкая, немного сутуловатая, с тревожной походкой, с движениями судорожными и пугливыми, будто у раненой птицы, бьющаяся о чужие локти и стены, молящая о чем-то хрипло и жалко. О чем? О пощаде, о пощаде... У кого? У них, у них... Обступивших со всех сторон не то наемных телохранителей, не то наемных убийц, разглядывающих беспощадно ее загримированную тоску, ее зарифмованное смятение, ее напудренную осень.

Осень Федры — вот что ставил Виктюк, вслушиваясь в стихи Цветаевой. Своим абсолютным музыкальным слухом угадал в перебое ритмов и рифм перекличку автобиографических мотивов, узнал в задыхающемся речитативе голос судьбы, ощутил в смуглой горячей наготе последнее солнце августа. Увидел в черном силуэте с веревкой в руках образ современной трагедии.

«Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре».

Увидели. Правда, не в «старинном многоярусном театре», как мечтал Мандельштам, а в современном, как заводской цех, зале Таганки. Но увидели. Это ли не удача! И обязаны мы ей Виктюку!

Теперь очередь Таньки — старлетки эпохи гласности и перестройки, героини «Нашего Декамерона» — самого скандального его спектакля. Виктюк любит работать на контрастах. Веселая девка сменила печальную деву. Пэтэушница сменила царицу. Трико с блестками, облегающее упругое, тренированное тело бесстыдно, бесполо. Фигура раздетого манекена из витрины, гуттаперчевой акробатки с цирковой трапеции. «What do you want, sir?» Она может сделать шпагат, может сделать кульбит, может сделать минет, может вывернуть себя наизнанку, как это трико, показав такие фокусы, от которых захватит дух. «Be good, boy. Come on, baby!» Эта девочка, как тот король, о котором поет за сценой Алла Борисовна, может все. Кроме одного — любить. Не умеет, не знает, не проходила. Подруги не объяснили, и Радзинский не научил. В ее лохматой стриженой головке не умещается, что кого-то можно любить, жалеть, спасать, вырывать из тюрьмы и болезней, поить чаем с малиной, ждать на перроне, у подъездов, у телефона-автомата, у колонн Большого театра, все время ждать и бояться, что может что-то произойти, когда ждать уже будет не нужно, и останется только умереть. Умереть от любви. Как красиво! Такой чистый, незамутненный «Viktyuk style». Осмеянный, раскритикованный, многократно обруганный и, несмотря ни на что, прекрасный, потому что в нем столько любви...

А теперь — кульминационный момент шоу. Явление Мадам. Вот она, его чайка, в оперенье из страуса. Его звезда в бриллиантах из фольги. Первая леди его театрального гарема. Пусть замолкнут все, кому не досталось место в партере. Даже если вы ничего не увидите, вы услышите. Даже если ничего не услышите, вы догадаетесь. По необыкновенной тишине, по слабым стонам первых рядов, по напряженным спинам ваших соседей, сидящих впереди. Это она...

«Je suis malade».

Поет Далида. И что только не слышится в ее пении, что только не возникает за этим силуэтом в боа, с дымящейся сигаретой в длинном мундштуке: долгие взгляды, нежные касания, заднее сиденье в такси, колени, шелк, мятущиеся руки, мятущиеся губы, полузадушенная мольба: «Сейчас прямо. Все время прямо. Никуда не сворачивайте. Ради Бога, только никуда не сворачивайте». Невозмутимый профиль — ее, его? — не важно! На фоне площади Согласия или Останкинской телебашни — не важно! «Все время прямо». Голос задыхается, захлебывается в воспоминаниях и кричит, кричит от боли.

«Je suis malade...»

Это тема Мадам. Это то, что умеют и хотят играть все женщины на свете, прошедшие через увечья разрушенных браков, растоптанной любви, утраченных иллюзий. Но у Виктюка это сыграет мужчина. Да, Мадам — это мужчина, преображенный алхимией его режиссуры, отбросивший свои подтяжки и галстук как нечто не соответствующее его подлинному обличью, сбривший с себя всю шерсть и грубую свою маскулинность, забеливший гримом лицо и все свое прошлое, превратившийся — не в женщину, нет — но в божественное чудовище, в «devine monster», плени-

* «Ты знаешь край? Лимоны там цветут». Гете. «Миньона».

тельное и ужасное, непристойное и неотразимое. И дело здесь даже не в Виктюке и не в таланте исполнителя, а в самом таинстве этого преображения, которое и есть театр, в этом священном обмане, который и есть единственная правда искусства.

Далида допоет. Мадам исчезнет. Женщины снова появятся на помосте, чтобы под наши аплодисменты спуститься в зал. У них немного обиженные лица, хотя они пытаются улыбаться. Они знают, что свое отыграли, и теперь их место в партере, среди воспоминаний, театральных легенд и прошлогодних моделей. Антракт. И только чей-то до боли знакомый голос все повторяет и повторяет одну и ту же безумную фразу: «Мы были на бале, на бале, на бале, а с бала нас прогнали, прогнали, прогнали...»

III. МУЖЧИНЫ

Теперь выход мужчин. Пора наконец им покинуть кордебалет пажей, кавалеров и телохранителей, где им приходилось быть только аккомпаниаторами женских голосов и страданий. Пора им предстать в той единственной роли, которую придумал для них Виктюк. Это роль мужчины-вамп. На драматической сцене у него нет предшественников, в нашей литературе нет прототипов. Вообще наша чопорная театральная традиция окружает эти создания презрением почти беспримерным. Атмосфера эротического смятения, которую они создают одним своим безмолвным появлением, одними только смелыми и томными взглядами, как бы возбуждает у всех тягу к приличиям, ханжескую привычку застегиваться на все пуговицы, не осознанный до конца страх быть уличенными или заподозренными в сомнительных склонностях. Мы готовы скорее смотреть на каких-нибудь старых теток в кокошниках из народного хора, притопывающих и голосящих, чем на долю секунды встретиться с этим умоляющим взглядом, устремленным из вечных сумерек наших кошмаров, вожделений и снов. А Виктюк не боится смотреть в глаза любви, что бы они ни выражали — томление плоти или страдания духа, не боится услышать призывы гомосексуальной страсти, чьим бы голосом они ни были озвучены — свирепым басом или нежнейшим альтино. Ему неинтересны анкетные данные — кто, когда, с кем, сколько раз? И даже внешность не имеет решающего значения. Впрочем, как и все, Виктюк предпочитает молодых и красивых, молодых и умелых, молодых и ненасытных. Молодых, обязательно молодых...

Мускулистая и нетерпеливая молодость его героев — это, кроме всего прочего, еще и вызов дряблой старости, бессильному увяданию, безобразной смерти. Жизнь для Виктюка — это страсть, а объект страсти — это мужчина. Большинство его спектаклей вне зависимости от реально существующего текста выстраиваются по излюбленной им схеме традиционного многоугольника, в центре которого всегда о н — инфернальный любовник, непорочный юноша, нежный забулдыга или брутальный дембель. При этом ему даже необязательно быть «действующим лицом», достаточно только присутствовать где-то на втором плане, чтобы на сцене вокруг него возникло поле всеобщего притяжения.

С чем-то подобным сталкиваешься, когда читаешь классические пьесы Теннесси Уильямса. Там тоже вопреки театральной традиции амплуа «вамп» отдано мужчине, а не женщине. Все его Вэлы, Чансы, Джоны и Ларри — неприкаянные бунтари, классные любовники стареющих вдов, одинокие странники, путешествующие автостопом,— все они родные братья героев Виктюка. А сам он, как и его любимый Теннесси,— это, конечно, Бланш Дюбуа, белая леди с Юга с ее греховностью, зависимостью от «доброты первого встречного», с ее приступами необъяснимой тоски и безумия.

То, что Виктюк, как правило, отождествляет себя с героинями, отчасти объясняет, почему женские роли получаются в его спектаклях много ярче и значительнее, чем мужские. Женщины у него предельно индивидуализированы. Мужчины все на одно лицо. Женщины играют судьбу. Мужчины воплощают желание. Только, пожалуй, Эрик Курмангалиев в «М. Баттерфляй» и Сергей Виноградов в «Служанках» сумели создать нечто большее, чем отвлеченный образ греха и соблазна. Но при этом они изображали женщин, а точнее, мужчин, играющих в женщин. Обычно у Виктюка мужчины лежат, сидят, ходят, принимают несколько поз, произносят несколько фраз. Они готовы заняться любовью, но могут и спокойно провести время, смотря телевизор или плюя в потолок. Они ничего не могут, хотя их все хотят. Они ничего не решают, хотя их все заставляют действовать. У них одна мечта — чтобы их оставили наконец в покое, и одна забота — подольше быть молодыми, свободными и прекрасными.

Вот они — четверо — становятся в третью позицию у балетного станка, отраженные зеркалами из легендарных «Служанок». Выворотность идеальная. Спины, как говорят в балете, схвачены. Линии работающих рук и ног вычерчены безупречно. Раз-два-три. Па-де-бра. Раз-два-три. Па-де-плие. Идет экзерсис, без которого нет искусства. Идет работа, без которой не бывает творчества. Идет репетиция, без которой не может состояться ни один спектакль. Раз-два-три. Резче батман. Смелее делайте па, которым научил Виктюк. Не склоняйте головы. Выше подбородок. Восхищайтесь миром. Не бойтесь боли. Наслаждайтесь любовью. Уповайте на судьбу. Раз-два-три...

Наш спектакль подходит к концу. Скоро поклоны. Виктюк за кулисами. Я слышу его голос, вижу нездешний загар и новый пиджак цвета семги. Поймав мой взгляд, он догадывается о первом вопросе.

— Двести долларов. Настоящий шелк.

— Что для вас несчастье? — пока он опять не ушел, я тороплюсь спросить.

— Не репетировать.

— Что больше всего поражает в жизни?

— Предательство.

— Что такое, по-вашему, талант?

— Только страсть.

— Кто для вас есть воплощение страсти на сцене?

— Линдсей Кемп, Хорхе Донн и Наташа Макарова.

— Существует ли для вас табу?

— Чехов.

— Какой у вас характер?

— Золотой.

— Чего больше всего хотите в жизни?

— Нормальной работы. Больше ничего.

— Верите ли в судьбу?

— А как же? Только этой верой и живу.

— Что вы вкладываете в понятие «путь режиссера»?

— Это радость существования, к которой каждый должен прийти через страдание. А страдание одолеть вдохновением художника и озарением — помоему, это и есть путь.

Светская хроника

ВОСТОЧНЫЙ СТРИПТИЗ

В скромном кабинетике Фрунзенского народного суда города Владивостока прошел судебный процесс, связанный с именем певицы Марины Журавлевой. Поклонники ее могут не волноваться: свободе Марины ничто не угрожает. Предметом же разбирательства стала публикация в местной молодежной газете, посвященная ее гастролям. Всего за семь рублей афиши обещали жителям Владивостока стриптиз и концерт лидера московских хит-парадов. Оголяться на арене цирка, где шел концерт, никто, однако, не стал. А с известной московской певицей произошел и вовсе конфуз: популярный голос полился из динамиков раньше, чем она взяла в руки микрофон. Публика обиделась и начала бесчинствовать. Особо одаренная зрительница рванула на сцену и не без успеха исполнила там песню голосом лидера хит-парадов. Остальные кинулись за кулисы вслед за опозорившейся звездой, попутно громя аппаратуру.

Но больше всего «Светскую хронику» заинтересовал следующий факт: по словам менеджера Марины Журавлевой Сергея Сарычева, сама Марина в это время выступала в другом городе. А шалости во Владивостоке — дело рук «двойников», которых в эпоху «Ласкового мая» расплодилось немало. А Марина, как говорит ее менеджер, поет только «вживую». Но вообще, по словам Сергея, до 90 процентов исполнителей пользуются «фанерой» (фонограммами.— **«С. Х.»**).

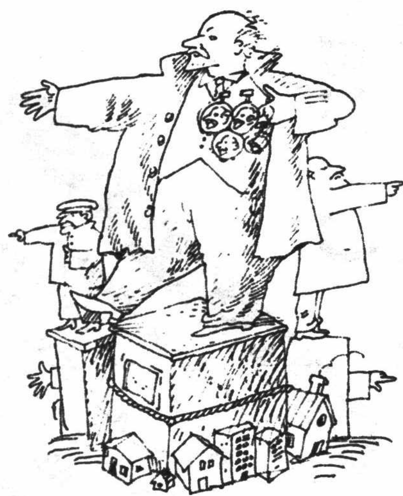
Немногим позже во Владивосток прибыл Женя Белоусов. На фоне искренних слез его поклонниц «фанера» была совершенно отвратная. Поневоле, зная нравы современной эстрады, задумаешься: а был ли Женя?..

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО им. В. И. ЛЕНИНА

Санкт-Петербургу, знаменитому на весь мир своим ордена Ленина имени Ленина Ленинградским метрополитеном, никогда не сравниться с Запорожьем, где подобная тавтология побила все мыслимые рекорды.

Коллектив запорожской ДнепроГЭС им. Ленина, расположенной в Ленинском районе (неподалеку от озера им. Ленина с островом Ленина посередке), был удостоен ордена Ленина за успехи в труде. В парке им. Ленина возле речного порта им. Ленина, находящемся на берегу озера, высится статуя одноименного вождя с ужасающе длинной десницей, простертой в «неизбежное» коммунистическое завтра. Неподалеку от фигуры находится площадь Ленина, плавно переходящая в проспект Ленина, самый длинный в Европе (около 22 километров).

Жаль, что Ильич отродясь не бывал в этом городе.



РУССКИЙ РОМАН ПО-НЕМЕЦКИ

На днях главная литературная премия Берна (столица Швейцарской Конфедерации) была вручена Юрию Гальперину за роман «Мост через Лету». Несколько лет назад «Мост через Лету» вышел на русском в Англии и Франции и получил литературную премию имени Даля в Париже. Теперь премии удостоено издание романа на немецком языке. Кроме писателя, специальную премию за лучший литературный перевод года получила Тереза-Мадлен Ролье.

Юрий Гальперин переселился в Берн из Ленинграда 14 лет назад. До этого он успел отслужить в Советской Армии (на далеком Севере), написать пьесу (для Ленинградского ТЮЗа) и понять, что шансы на публикацию его прозы равны нулю.

Времена изменились. Теперь жизнь в эмиграции — аргумент в пользу публикации. Однако Юрий Гальперин не сидел в тюрьме и даже сохранил советское гражданство. Видимо, теперь эти обстоятельства служат препятствием на пути к отечественному читателю.

На фото: Юрий Гальперин и переводчица Тереза-Мадлен Ролье на церемонии вручения премии.

У ТЕАТРАЛЬНОЙ РАМПЫ

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ДРАМА

Киевский театр-мастерская «Сузір'я» представил на суд зрителя пьесу «Венгерская Медея», привлекшую публику не столько сонмом блистательных исполнителей (Богдан Ступка, Ада Роговцева и другие), сколько фамилией автора: А. Гёнц — президент Венгрии. Мало того, театр готовится к постановке двух одноактных пьес В. Гавела, чехословацкого президента, и пьесы папы римского Иоанна Павла II.

Напрашивается вопрос к нашим президентам: как насчет хотя бы водевиля?

ПУСТЬ ОПОЗДАВШИЙ ПЛАЧЕТ

В подмосковном городе Климовске прошел очередной всесоюзный турнир по спортивному бриджу. Турнир собрал 80 пар спортсменов из 27 городов бывшего СССР. Как принято у приверженцев этого вида спорта, чемпионат сопровождался всевозможными светскими мероприятиями. Были отмечены и некоторые новшества. К примеру, впервые в нашей стране состоялся аукцион спортивных пар: болельщики могли «приобрести» приглянувшуюся пару из вышедших в финал, а потом получить за нее некоторую сумму — в зависимости от того, как «купленная» пара проявит себя в финале.

Победителями турнира стали молодой бриджист из Москвы Андрей Громов (обучающийся в Институте стали и сплавов) и бриджевый профессионал из Санкт-Петербурга Дмитрий Рыбаков. Пара победителей получила довольно приличный приз (2000 рублей на двоих).

Перед открытием турнира любителям бриджа сообщили хорошую новость: у них теперь будет свой журнал. Презентацию нового издания провели, не откладывая в долгий ящик, прямо там же и тогда же. Журнал будет носить гордое имя «Бридж в России».

Заключительный банкет был бы удачен, если бы не русская традиция всюду опаздывать. Из шестидесяти приглашенных вовремя пришли только тридцать пять и, не растерявшись, съели все, что было на столе. Опоздавшие были сильно обижены.

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

ВЕРНЫЙ ДРУГ АЛЕКСАНДРА РОЗЕНБАУМА,

кобель породы бультерьер, недавно сопровождал артиста во время его гастролей в Киеве. Когда они вдвоем прогуливались по городу, пес взял и покусал хозяина за ногу, приревновав его к симпатичной колли, которую тот неосмотрительно погладил. Пришлось врачам накладывать барду швы. Выступление его перед публикой, таким образом, не состоялось.

Вот и люби их...

НЕУЛОВИМАЯ ЛИЗ

Дотошные юристы не дают покоя врачам, лечившим столь же великолепную, сколько и выносливую — перенесшую более тридцати операций,— Элизабет Тейлор. Сама Лиз «претензий к врачам не имеет», что вполне понятно. Выплыли факты, что она шантажировала медиков, грозя покончить жизнь самоубийством, если они ей не выпишут наркотики.

Однако нарушительница закона неуязвима: у нее достаточно средств, чтобы утихомирить юристов. Тем более что актриса всю жизнь «реабилитирует» себя щедрой благотворительностью. Недавно она вложила крупную сумму в премьеру фильма «В постели с Мадонной» с тем, чтобы барыши потратить на программу борьбы со СПИДом.

ЭТИ СУМАСШЕДШИЕ ПСИХИАТРЫ

Группе французских психиатров во главе с Тони Лэне удалось осуществить сумасшедший — с точки зрения людей здравомыслящих — замысел. В городе Виль-дю-Буа год назад был открыт ресторан «Ле Литтераль», где только у поваров с головой все, так сказать, благополучно. Остальной персонал работает в ресторане ради «социальной адаптации». После лечения в клинике для душевнобольных молодые люди успешно обслуживают посетителей «Ле Литтераля», который ничем не хуже других французских ресторанов. А то, что официанты немного заторможены либо, напротив, чересчур мобильны, мало кто из клиентов замечает. Особенно после бокала шампанского.

Советские психиатры могли бы воспринять идею французских коллег. Тогда не было бы нужды определять людей с психическими отклонениями в мастерские, которые не снились даже Вере Павловне в ее хрестоматийных кошмарах.

МАССЫ ТЯНУТСЯ К ИСКУССТВУ

В Германии быстро выходят из моды профессиональные порнофильмы. Их вытесняют порнофильмы любителей.

Новое кино снимается видеокамерой, а играют здесь чаще всего... семейные пары. Сами же и смотрят, обмениваются кассетами с друзьями, занимаются бизнесом. Многих, кстати, именно желание подзаработать подвигло на такое хобби, а потом привычка, да и слава уже не отпускают.

В обществе по-разному отнеслись к новой волне в искусстве. Сексологи не видят в этом увлечении ничего страшного. «Нечего хмуриться,— говорят они.— Это всего лишь возможность получить радость от собственного тела...» Резкая критика, как и следовало ожидать, раздалась в стане профессионалов. 37-летняя Тереза Орловски, бывшая «звезда» секс-кино, а ныне продюсер порнобизнеса, заявила журналу «Квик», что разница между любительским и профессиональным порно та же, что между короткометражкой о каникулах и голливудским «Танцующим с волками».

Но поклонники нового направления не сдаются: уже каждый седьмой фильм сделан любителями, каждый третий хочет такой фильм снять сам.

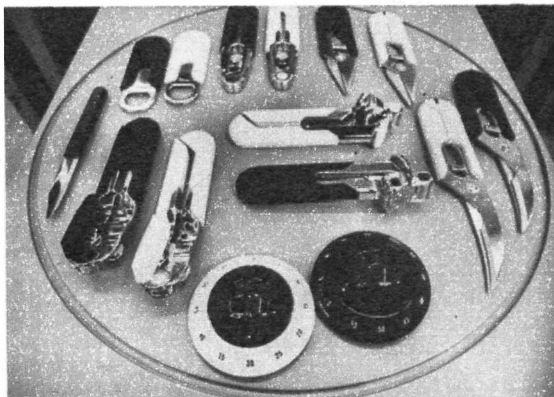
Не наш это человек, не наш.

ИХ НРАВЫ

МАФИОЗИ С СЕДЕНЬКИМИ БУКЛЯМИ

Солидный процент среди торговцев наркотиками в США составляют пенсионеры. Полицейские прокомментировали эту грустную статистику однозначно. Седенькие букли, старомодные очки, тросточки — то есть вполне невинный вид вышедших на променад старичков и старушек помогает новоявленным бизнесменам сбывать свой товар. Балтиморские правоохранительные органы жалуются, что со стариковской наркомафией бороться очень трудно. В самом деле, возможно ли вот так взять и «обшмонать» почтенную бабулю, даже если ее поведение и показалось немного подозрительным. Както это не по-джентльменски...

НОЖ И ВИЛКА, НО ИЗ ИТАЛИИ...



Фуршет по-итальянски — это всего лишь фуршет по-итальянски. Тут ни убавить, ни прибавить, как говорится. А если что и добавить, то одну из новинок фирмы «Педрини».

Сотни различных вещей и вещичек для обычной кухни и сверкающего хрусталем раута — это и есть забота «Педрини», ее дизайнеров.

Блистательная выставка «Быт Италии», которой мы обязаны настойчивости итальянских деловых людей, директора выставки Елены Сини и их достойного партнера с нашей стороны — объединения «Экспоцентр», раздвинула наши представления о светской жизни. Великолепные украшения, вполне доступная (увы, пока не для нас!) парфюмерия и косметика, домашняя утварь, обувь и одежда — как для вечернего выхода в свет, так и для повседневной носки.

И вдруг оказалось, что нет железного занавеса между понятиями «светскость» и «повседневность». Они переливаются и дополняют друг друга. И вообще неразделимы. В нормальном обществе...

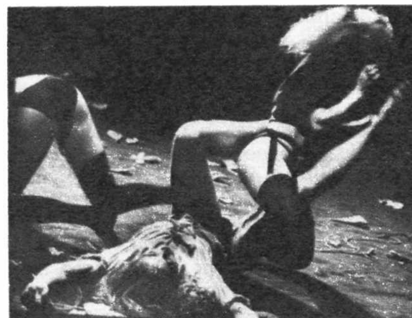
СЕКС ВМЕСТО МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Спектакли эротического театра Демидова проходят, как правило, без громкой рекламы и посещаются публикой, понимающей разницу между порнухой и утонченным искусством. Именно на понятливую аудиторию рассчитан спектакль «Люксембургский сад», недавно представленный в столичном ДК «Меридиан». Под фонограмму песен Джо Дассена несколько девушек и мужчин, раздеваясь периодически почти донага, изображали на сцене дом свиданий.

Среди зрителей находился в тот день один из руководителей бывшей Военно-политической академии им. В. И. Ленина. В театр он пришел инкогнито, боясь, что его присутствие в столь «злачном» месте может быть превратно истолковано коллегами.

— Как педагог, я ищу новую методику работы, — признался ответственный работник. — Наше учебное заведение будет реформировано в Гуманитарную академию Министерства обороны СССР. Сексуальное воспитание офицеров не мешало бы включить в учебную программу...

После спектакля педагог решил не водить своих слушателей в этот театр: на сцене все выглядело примерно так же, как и в жизни. А студенты, имеющие звания не ниже майора, скорее всего уже не мальчики...



В ТИСКАХ ЭКОЛОГИИ

Московский театр «Эрмитаж» недавно вернулся из города Бонна, где успешно участвовал в фестивале искусств «Боннское лето». Театр предложил немецкой публике спектакль «Вечер в сумасшедшем доме», который был принят с восторгом. Даже зритель, у которого отказали наушники (как выяснилось, и у немцев такое бывает), был доволен: он понял все и без перевода.

Поездка коллектива театра не была безоблачной. Например, на улице Бонна прямо перед артистом театра Геннадием Храпунковым упал раненый лебедь.

Улица была моментально перегорожена, стараньями группы экологов, движение остановлено, и через несколько минут за лебедем приехала «Скорая». Надо сказать, что в Европе экологов боятся как огня, и когда для спектакля «Вечер в сумасшедшем доме» понадобилась рыбка («...маленькая рыбка, жареный карась...»), немцы, испуганно озираясь, притащили в огромном корыте большого зеркального карпа. Когда же выяснилось, что нужна всего-навсего маленькая аквариумная рыбка, немецкие друзья, не скрывая облегчения, выпустили карпа в ближайший пруд. Как выяснилось, они рисковали уплатить огромный штраф или даже угодить под суд.

Но, несмотря на опасности и проблемы, гастроли прошли вполне успешно. В Бонне с театром было заключено несколько соглашений о сотрудничестве, даст Бог, это были не последние гастроли «Эрмитажа» в объединенной Германии.

А пока в Москве театр открыл сезон блистательной опереткой-обэриу «Парижская жизнь» — последней работой главного режиссера Михаила Левитина. Создатели спектакля считают: парижская жизнь есть. И именно в «Эрмитаже».

ПОЧТА «СВЕТСКОЙ ХРОНИКИ»

Администрация «Светской хроники» уведомляет уважаемого читателя о том, что отныне мы начинаем публиковать самые интересные письма, поступающие в адрес рубрики. Наш эпистолярий мы открываем письмом Сергея Шаргунова, десятилетнего лидера и создателя партии «Свобода», о котором мы писали в 42-м номере.

«В «Светской хронике» была опубликована заметка «Вундеркинд» — обо мне, журнале и партии, которую я представляю. Сразу замечу: я не вундеркинд. Вы отстали от жизни и не знаете детей. Сейчас многие дети интересуются политикой. Самый младший из нас — Павел Михеев, ему восемь лет. Он тоже в политике понимает.

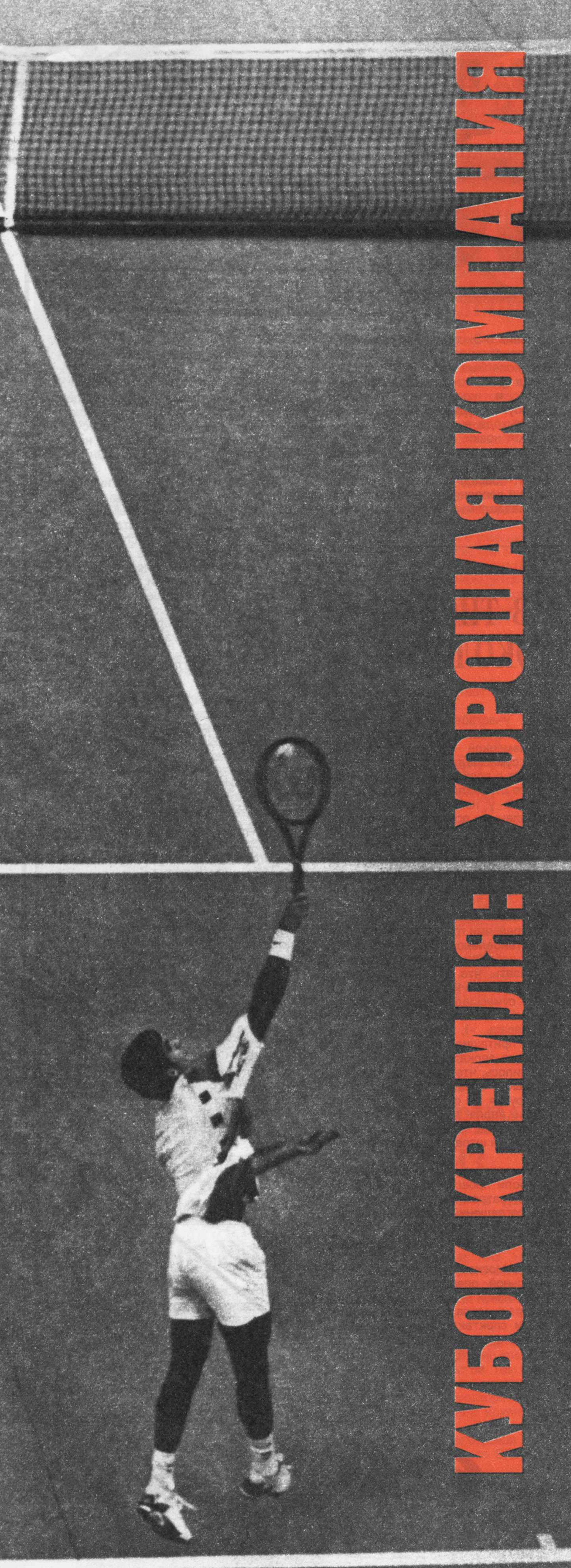
Мои слова о том, что в партию могут вступать все здравомыслящие люди, вовсе не значат, что я самый здравомыслящий. И политикой я стал интересоваться отнюдь не после первого класса, как вы написали, а еще до школы. Принимая во внимание, что вы подготовили и напечатали заметку, не спросив у меня разрешения, я требую официального ее опровержения, так как я мог за это время распустить партию и перестать заниматься политикой.

С глубоким уважением
Сергей ШАРГУНОВ,
председатель партии
«Свобода»,
главный редактор
одноименного журнала».

*Рубрику подготовили
Юлия СУДАРЕНКО,
Вера ЛАВРЕШИНА
и Светлана БАБЫКИНА.
Им помогали Алексей РАСПУТНЫЙ,
Павел ПОРТНОЙ,
Алексей МОКРОУСОВ,
Людмила СЕЛИВАНОВА,
Виктория МАЛЫГИНА,
Елена РОМЕЙКОВА,
Константин КОСТИН.
Рисовала
Евгения ДВОСКИНА.
Фото
Владимира МАШАТИНА.
Будем благодарны за информацию
о сенсациях, интересных
фактах и событиях.
Ее можно сообщить
по телефону:
212-23-07.*

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ



КУБОК КРЕМЛЯ: ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ

Фото Анатолия БОЧИНИНА

Наталья БЫКАНОВА

«Хорошо возвращаться туда, где было хорошо,— сказал Тим Майотт, финалист прошлогоднего Кубка Кремля.— Я скучал по России и обязательно приеду в Москву на следующий год». Признание было сделано после проигрыша на старте соотечественнику Джиму Грэбу, но даже поражение не могло стереть улыбку с его лица. Любовь американца к России взаимна.

Ностальгические чувства обнаружились не только у Майотта. Глядя на гостей, можно было воскликнуть: «Знакомые все лица». Не отступился от турнира его основатель — швейцарский миллионер Сассон Какшурия, больше того, учредил фонд, на счет которого положил сто тысяч долларов для развития тенниса в России. Не поддался на уговоры конкурирующего турнира в Бирмингеме главный судья Уимблдона и нашего Кубка Энди Милс.

Фирма «Байер», основной спонсор, раскинув мозгами, не стала упускать возможности завоевания нашего безбрежного рынка. «Мы долго совещались. Это решение было не простым»,— признался «мистер Аспирин», Вильфред Мерг, отвечающий за европейский рынок. Обильно и бесплатно поила игроков и журналистов «Пепси». Хороши были обтягивающие рейтузы от «Эллессе» на крутых бедрах русских девочек, обязанностью которых было широко улыбаться богатым обладателям валютных билетов и специальным гостям. Второй год подряд поднимал своим присутствием престиж турнира Бад Коллинз, лучший американский телекомментатор и теннисный писатель. Миновав 60-летний рубеж, он обнаружил в себе русскую душу и решил пожить в России-матушке хотя бы три месяца. Правда, помня про тяжелые времена, захватил своим московским друзьям кусок ветчины и целую сумку сигарет.

Команда была в сборе, и Юджин Скотт, директор Кубка, не сомневался в очередном успехе. Он был самым опытным теннисным специалистом по восточноевропейскому региону, а соответственно самым закаленным. Несколько лет назад, начав осваивать спортивный рынок бывших социалистических стран, он в конце концов добрался до его самой крайней точки — Советского Союза — и начал развивать бизнес в самом центре России.

Любопытная деталь: тренер Скотта по теннису Элизабет Райен, многократная чемпионка Уимблдона, была последней победительницей международного турнира в Санкт-Петербурге в 1914 году. Легенда говорит, что американка еле успела на поезд, который увозил ее из России, бывшей тогда в пяти минутах от первой мировой войны. Бетти благополучно добралась до родины и после окончания спортивной карьеры стала работать тренером. «Я был слишком мал и глуп, чтобы в 12 лет понять ее рассказы,— вспоминал мистер Скотт,— даже если бы Райен решила мне что-то рассказать, я бы ничего не понял». Тем не менее почти 40 лет спустя он оказался в Москве, которая была тоже на пороге великих переломов. Скотту не пришлось прыгать в последний поезд. Наоборот, после провала августовского путча он даже оказался «впереди паровоза», потому что имел к тому времени двухгодичный опыт работы в нашей стране, налаженные связи и дружную команду, которую подобрал себе сам, безошибочно отделив зерна от плевел в суматохе прошлогодней премьеры. Весь госкомспортовский аппарат и бывшую Федерацию тенниса СССР заменило компактное предприятие во главе с Александром Вайнштейном, первым заместителем директора-американца. Словом, получилась инициативная группа, сумевшая поднять турнир на новый, более профессиональный уровень по сравнению с прошлогодним немного бестолковым, хотя и шумным успехом. Добавьте миллионные вложения советских спонсоров, элитный состав участников. 300 тысяч долларов призового фонда — и станет понятным, почему Кубок Кремля называют крупнейшим спортивным событием России уходящего года.

Игроков первой десятки на турнире было двое: Карел Новачек и Петер Корда, дошедший в прошлом году до полуфинала. Оба впервые в своей карьере вошли по осени в десятку и вместе с Иваном Лендлом, который хотя и практически натурализовался в США, но еще не получил американского гражданства, составили чешское трио в мировой теннисной элите. Событие уникальное в истории спорта. Участие Корды и Новачека позволило Кубку Кремля «обставить» своих соперников из Бирмингема, где в те же сроки проходил аналогичный турнир, правда, с призовым фондом в полмиллиона долларов. Там первым фаворитом был Майкл Чанг, победитель открытого чемпионата Франции-89, который на сегодняшний день не входит даже в двадцатку сильнейших теннисистов мира. «Сегодня призовой фонд турнира практически не влияет на состав участников,— делился профессиональными тайнами мистер Скотт.— Определяющий фактор — сумма «андертейбл мани» (в дословном переводе: деньги, вручаемые под столом, то есть неофициально, в качестве поощрения). Эта практика принята повсеместно и практически легализована. Разницу в призовом фонде между бирмингемским соревнованием и Кубком Кремля теннисисты получили именно таким образом. Размер этих призовых на московском турнире колебался от 5 до 20 тысяч долларов в зависимости от ранга игрока».

Но не деньги, конечно, были главной приманкой турнира, а Россия, интерес к которой после августовских событий вышел на новый виток. На этот интерес работал бизнес-симпозиум, проходивший в рамках турнира в гостинице «Славянская», на котором основными докладчиками предстали Иван Силаев и брат президента США Джонатан Буш, который после этой поездки может быть назван самым русским в семействе Бушей. «Правда,— поправил меня младший из братьев,— остальные, наверное, будут не слишком довольны этим моим титулом, потому что сами планируют познакомиться с вашей страной. Но на некоторое время, думаю, я сумею сохранить это почетное звание». Больше ста представителей крупнейших международных корпораций, в том числе «Фиат», Ай-би-эм, Эйти-ти, Смит Корона и другие, сумела собрать эта встреча деловых людей.

На обеде, который проходил без отрыва от микрофона, Юджин Скотт представил Джонатана Буша как «спортсмена с не меньшей страстью к теннису, чем у Тима Майотта, но с менее сильной подачей». Директор Кубка Кремля может дать теннисную характеристику многим американским политикам и бизнесменам, в том числе и президенту США, с которым до недавнего времени представлял очень слаженный дуэт, выступавший не без успеха на любительских турнирах. Теперь дел у Джорджа Буша прибавилось, теннисные турниры стали непозволительной роскошью, и место брата в паре занял Джонатан.

На Кубке Кремля все стали свидетелями рождения нового дуэта — Юджин Скотт — Иван Силаев, которому удалось вырвать победу в товарищеском матче против Джонатана Буша и Александра Вайнштейна. Наш Иван Степанович сразу стал самым популярным игроком турнира и, если бы не ранний час игры и отсутствие рекламы, мог бы собрать не только полный стадион

«Олимпийский», но и центральную спортивную арену имени В. И. Ленина.

Вообще же выручка от продажи билетов втрое превзошла прошлогоднюю, и не последнюю роль в этом сыграло участие в турнире всех сильнейших советских теннисистов, начиная от Андрея Чеснокова и кончая Андреем Медведевым.

Правда, первому довелось выйти на корт всего два раза, да и то в парной встрече. Андрей, единственный раз до этого выступавший в парном турнире, решил, наверное, вдвойне побаловать своей игрой московских болельщиков и вместе с Андреем Мериновым заявился на участие в отборочном турнире в этом разряде. Обе встречи игрались под занавес дня, но зрители не расходились, терпеливо ожидая выхода кумира. Чесноков в паре — это редкое зрелище. Во второй встрече в двух шагах от победы и участия в основной сетке парного разряда Андрей-старший, рванувшись за «мертвым» мячом и достав его, неудачно упал на правую руку и сломал средний палец. По мнению докторов, теннисист не сможет две недели брать ракетку. «Я очень хотел играть и выиграть здесь. Я в хорошей форме,— говорил Андрей, и в его словах не было и грамма фальши.— Наверное, это просто не мой год, потому что, кроме открытого чемпионата Канады, у меня не было особенных успехов». Долгое время Андрея мучил непонятный вирус, который он «подцепил» на рыбалке в США. Раны не заживали, врачи не знали, что и думать, потом наконец вылечили, но он снова заболел. На этот раз простуда. К Кубку Кремля состояние пришло в норму, но везение отвернулось от Андрея... «Еще не вечер,— повторял Чесноков журналистам.— Я не собираюсь уходить со сцены. Выводы сделаны, в следующем году мне должно повезти». Перелом пальца, однако, оказался на руку журналистам, которые, пользуясь безотказностью нашей звезды, атаковали его на каждом углу.

Про второго нашего теннисиста, Александра Волкова, финалист Кубка Кремля швейцарец чешского происхождения Якоб Хласек сказал, что у него самый большой потенциал из советских игроков. В отличие от Чеснокова для Волкова этот год был очень удачным, лучшим в карьере. Двумя пиками стали победа на крупном турнире в Милане с призовым фондом в 600 тысяч долларов и полуфинал в Базеле, который считается чемпионатом Швейцарии, где он проиграл будущему победителю Якобу Хласеку.

Об этом теннисисте тоже надо сказать особо. Когда мальчику было четыре года, его отец, известный чешский хоккеист, вместе с семьей эмигрировал в Швейцарию. Причина — вторжение советских войск на его родину. «Нам пришлось начинать все сначала,— рассказывал Якоб.— Приходилось очень трудно, нужно было не только зарабатывать на жизнь, но и врастать в новую культуру. Может быть, желание быть не хуже других и быть принятым в этом обществе было стимулом к моим успехам в теннисе. Моя борьба до победного конца на теннисном корте была продолжением борьбы за достойное существование в чужой для нашей семьи стране. Для меня любой безнадежный матч кончается только тогда, когда я жму руку сопернику после игры».

На Кубке Кремля, как признался Якоб, он не ставил себе больших целей, его приездом в Москву двигало скорее любопытство, к тому же под конец напряженного сезона он чувствовал психологическую усталость. Но, ощутив вкус побед, решил идти до конца и так же до конца сражаться в финале против Андрея Черкасова. Поддержка женской половины стадиона была ему обеспечена. Неофициально Хласек был признан самым «обворожительным» теннисистом турнира и, надо честно сказать, сам не скупился на комплименты в адрес прекрасных русских женщин. «Я всегда отмечаю красоту в жизни, люблю красивые вещи. Женщины — часть прекрасного, поэтому я тоже не обхожу их своим вниманием». После успеха в Москве Хласек имеет шанс продвинуться на несколько ступеней ближе к первой десятке, в которую он входил два года назад. На сегодня он пока семнадцатый в мировой табели о рангах. Внушительны успехи в парах, где вместе с французом Ги Форже они завоевали несколько титулов. Этот дуэт прославился еще и тем, что не так давно оба обрили себя наголо, для смеха, чем шокировали интеллигентную теннисную публику. «Надо все попробовать, пока молодой. В 50 лет я не смогу позволить себе ничего экстравагантного»,— объяснил Якоб.

Андрей Черкасов — победитель турнира Кубок Кремля-91.

Самым экстравагантным на турнире был порядок пропуска в деревню Эй Ти Пи — так называлось место, где обладатели валютных билетов, спонсоры, директорат, особые гости и игроки могли получить деликатесный обед бесплатно по принципу: ешь — не хочу.

На запахи, доносившиеся из этого оазиса изобилия, слетались голодные советские граждане, не имевшие доступа в эту святая святых. Но изобретательный русский ум позволял некоторым раз за разом проникать за кордон охраны. И всякий раз организаторам приходилось придумывать новые опознавательные знаки.

В первый день пускали тех, у кого на аккредитации был наклеен красный кружочек. Чего же проще. Наши хитрецы из цветной бумаги вырезали такой, что не отличишь. Почувствовав неладное (количество советских граждан в ресторане для валютных гостей стало подавляющим), организаторы ввели еще один опознавательный знак — наклейку с личной росписью владельца на обратной стороне аккредитации, и всех посетителей заставляли расписываться в толстом журнале для сличения с почерком личной росписи на аккредитации. Не помогло. Временный «отлив» наших людей из кормушки сменился новым приливом. И тогда было изобретено еще одно средство. Руку обладателя специальной аккредитации стали окольцовывать изящным пластмассовым браслетом причудливой конструкции, цвет которого каждый день менялся. Кроме того, на аккредитациях стали прокалывать дырки, ограничивая число бесплатных обедов до одного в день на каждого человека. Таким образом церемония опознавания у врат этого рая превращалась в сложный ритуал: сначала входящий предъявлял аккредитацию, потом расписывался в книге, потом сверялись почерки, потом ставилась дырка, потом предъявлялся браслет. Даже семья основателя турнира Сассона Какшурия не смогла пройти, не предъявив охране все опознавательные знаки. Бдеть так бдеть.

К сожалению, наша глупость иногда бывает так же безгранична, как изобретательность. Почему, например, вместо обещанных кроссовок зрителям были предложены пусть хорошие, но полукеды? Да все потому, что 60 тысяч долларов, выделенных добрым Сассоном на их покупку, были выданы советскому гражданину, которому и поручили приобрести товар в Германии. Наш соотечественник, сообразуясь, наверное, с принципом лучше дешевле, да больше, накупил огромное количество дешевых полукед, увидев которые мистер Какшурия сразу потянулся за байеровским аспирином: «Ни в коем случае не продавать на стадионе, только в детские дома как благотворительную помощь».

На турнире журналистов, как и на телеэкране, блистал Бад Коллинз. В 1961 году в паре с Джанет Хопс он выиграл чемпионат США в закрытых помещениях. «Мне доводилось разминать перед матчем и Розуолла, и Лейвера, и Ньюкомба,— вспоминал Бад.— Последним в моем списке был Андре Агасси. В прошлом году в Вене он протянул мне ракетку со словами: «Посмотрим, на что ты годишься в теннисе». Андре просто был не слишком доволен моей статьей о нем. Три раза он бил мне «в мясо», но удары удалось парировать». После этого Бад вернул строптивой звезде ракетку со словами: «Ты не слишком сильно бьешь, малыш. Поищи себе другого партнера».

Надо сказать, что у организаторов турнира была надежда, что Агасси сможет приехать на Кубок Кремля, и ему до последнего момента «держали место» в основной сетке. В отсутствие американца победу второй год подряд праздновал уфимец Андрей Черкасов. Теперь он, как и его коллеги по сборной Чесноков, Волков, Поляков, сумел завоевать чемпионский титул в этом сезоне. Будем надеяться, что на следующий год титулов будет больше.

ПРОШУ СЛОВА!

ПОЧЕМ НЫНЧЕ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

Ускорившийся после путча распад прежнего Союза породил абсурдную и опасную идею дележа и растаскивания Советской Армии, авиации и флота. Газеты и информационные агентства сообщают о создании собственных вооруженных сил самостийной Украины, куда войдут три военных округа и Краснознаменный Черноморский флот. Об этом заявил и министр обороны Украины К. Морозов. Как ветеран Черноморского флота и научный работник, занимающийся военными проблемами, хотел бы поделиться своими соображениями по этому поводу.

Что же представляет из себя Черноморский флот в настоящее время? Пусть военные цензоры и работники так называемых контрольных органов спят спокойно: я не раскрою каких-либо секретов и тайн. Все сказанное ниже — из открытых источников, например, справочник «Jane's Fighting Ships» за 1990—1991 годы, журнал «Military Technology» и другие.

Итак, в состав Черноморского флота входят: 21 подводная лодка с неядерными силовыми установками, из которых две вооружены крылатыми ракетами, остальные лодки торпедные и многоцелевые (атомных подводных лодок с баллистическими и крылатыми ракетами в составе Черноморского флота нет). Стоимость их около 6,5 миллиарда долларов. Флот насчитывает 65 крупных надводных боевых кораблей до фрегата включительно (примерно соответствует нашему большому противолодочному кораблю), что составляет 25 процентов от общего числа крупных боевых кораблей ВМФ СССР. Стоимость каждого не менее 250 миллионов долларов. Это как минимум 16 миллиардов долларов. Черноморский флот располагает одним многоцелевым авианосцем (20 процентов от общего числа в ВМФ СССР; находящийся на испытаниях авианосец «Адмирал Кузнецов», бывший «Тбилиси», и второй такой же корабль, строящийся в Николаеве, в расчет не принимаются). Имеются два крейсера-вертолетоносца (единственные в ВМФ СССР), 6 ракетных крейсеров (21,5 процента), 9 эсминцев УРО (23 процента), 47 фрегатов (25 процентов), 125 малых ракетных и противолодочных кораблей и катеров (25 процентов), 75 тральщиков (22 процента). И так далее — всего 287 кораблей из числа «малых».

Если считать в среднем, что каждый из них стоит 100 миллионов долларов, то получается 29 миллиардов. Все перечисленные корабли стоят 52 миллиарда долларов (это без многоцелевого авианосца, двух крейсеров-вертолетоносцев и ракетного крейсера «Слава», которые стоят как минимум еще 4—5 миллиардов долларов). Вот какой «подарок» рассчитывает получить Украина.

Теперь о морской авиации. Черноморский флот располагает следующим потенциалом: 150 морских стратегических ракетоносцев, бомбардировщиков и истребителей-бомбардировщиков (29 процентов ВМФ СССР), 40 самолетов-заправщиков (16 процентов), 30 самолетов ПЛО (13 процентов), 110 вертолетов ПЛО (35 процентов), 80 транспортных и учебных самолетов (23 процента). Как видите, авиационная армада весьма внушительная, и стоит она еще много миллиардов.

Я не говорю об огромном экспортном потенциале Черноморского флота. Ведь корабли и подводные лодки — это отличный экспортный товар, не уступающий нефти. Если за 1979—1988 годы объем торговли оружием в мире составил 339,3 миллиарда долларов, то продажа военно-морской техники составила 75,8 миллиарда, или 22,3 процента. За этот период Советский Союз продал одну пятую часть всех кораблей (первое место в мире), а всего за это время Советским Союзом было продано военно-морской техники на сумму 11,2 миллиарда долларов — третье место в мире (США — на 24, Францией — на 21, ФРГ — на 7,7 миллиарда долларов).

Возникает и другая трудноразрешимая проблема. Украине достаются крупнейшие в Союзе кораблестроительные верфи: в Николаеве (две), Херсоне, Керчи и других городах, крупнейшие авиационные, моторостроительные и прочие военные заводы. Не останутся ли перечисленные верфи и военные заводы без заказов, а корабелы и сборщики на конвейерах без работы? С заказами на строительство боевых кораблей и транспортных судов в мире сейчас очень трудно, быстро конверсию без валюты не произвести, военной техники на мировом рынке полно, конкуренция острейшая. Не появилось бы на Украине множество новых взрывоопасных очагов в связи с безработицей.

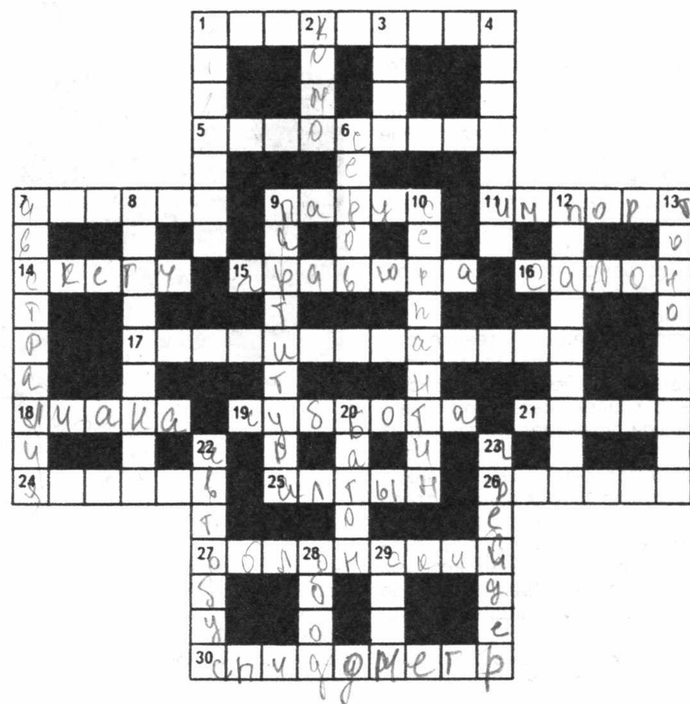
А вот другая сторона этой проблемы. Получается, что побережье Украины от Одессы до Керчи будет охранять флот, составляющий примерно четвертую часть всего советского ВМФ, а границы России, включая побережье на Черном море от Анапы до Адлера,— оставшиеся 75 процентов ВМФ.

Очень это дорогое удовольствие — иметь на содержании такой крупный флот, как Черноморский: много поглощает ресурсов, когда даже не плавает, а стоит у берега, без присмотра быстро ржавеет и превращается в металлолом. А морского металлолома ветераны-черноморцы и другие моряки видели на своем веку предостаточно. Чего хотя бы стоил тяжелый крейсер «Сталинград», разрезанный в свое время на Черноморском флоте по указанию Никиты Хрущева, годами гниющий и ржавеющий под Севастополем.

Провозглашается, что украинская армия и флот будут неядерными. Но какой же смысл иметь Украине армию в 350 тысяч и огромный, но безъядерный флот? Такая армия и флот в военном отношении будут слабыми и для защиты границ непригодными, так как не будут обладать соответствующим военным потенциалом. Это Украина, видимо, почувствует очень быстро.

Вопрос очень серьезный, и решать его, исходя из имперских амбиций, нельзя. Делить флот, армию абсурдно. Да и как делить? «Поровну», по совести, по числу населения или еще как?

Ю. ВВЕДЕНСКИЙ



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Советский композитор, пианист и дирижер. 5. Героиня трагедии У. Шекспира. 7. Река в Восточной Сибири. 9. Стихотворение М. Ю. Лермонтова. 11. Ввоз в страну товаров из-за границы. 14. Короткая пьеса шутливого содержания. 15. Вид изобразительного искусства. 16. Изолированная часть специального помещения на корабле, самолете. 17. Русский мореплаватель, адмирал. 18. Южное вьющееся растение. 19. День недели. 21. Современный бальный танец. 24. Русский поэт, друг А. С. Пушкина. 25. Старинная русская монета. 26. Виртуозный пассаж в пении. 27. Персонаж романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». 30. Прибор, указывающий скорость и пройденное расстояние транспортных машин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть карабина, автомата. 2. Озеро на севере Италии. 3. Последовательное повторение одной музыкальной темы несколькими голосами. 4. Химический элемент, металл. 6. Живописец, автор картины «Тройка». 7. Материк. 8. Областной центр в Казахстане. 9. Совокупность всех партий многоголосного музыкального произведения. 10. Клубки узкой разноцветной бумажной ленты. 12. Источники, возможности, средства, которые могут быть приведены в действие. 13. Отрасль геологии. 20. Белый хлеб продолговатой формы. 22. Пассажирский транспорт. 23. Машина для рытья каналов, постройки и ремонта дорог. 28. Наружная часть колеса. 29. Приток Десны.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 46

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Почерк. 7. Протон. 8. Капсула. 9. Шпонька. 10. Тибо. 12. Каретка. 13. Раритет. 14. Карачаевск. 16. Интегратор. 23. Номинал. 24. Изделие. 25. Азия. 26. Кадриль. 27. Инерция. 28. Кикоин. 29. Ренуар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Косатка. 2. Рессора. 3. Комната. 4. Токката. 6. Калитва. 7. Папирус. 10. Тарантелла. 11. Ориентация. 14. Кали. 15. Кипр. 17. Наньлин. 18. Ординар. 19. Андалиб. 20. Сморчок. 21. Клиринг. 22. Пеликан.

тел. 285-77-09

ВАШ БИЗНЕС БЛОКНОТ

ЭСКАРТ

№ 11

■ «Биржа-ЭСКАРТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ УНИКАЛЬНУЮ УСЛУГУ! Вам не нужны торги — приобретите ежемесячный международный каталог «Рынок-91». В нем есть все! Выбирайте из 2000 наименований товаров: от гвоздей до самолетов. Включайте свою продукцию в наш каталог. Открыта подписка на каталог «Рынок-92».

Телефоны: (095) 356-93-52, 330-80-05, 356-54-12, 214-63-31 с 10 до 16 часов, кроме выходных дней.

■ СП «СОВИНДЕП» ПРЕДЛАГАЕТ: КОНСИГНАЦИОННЫЕ СКЛАДЫ недалеко от центра Москвы, пункт таможенного контроля, расположенный непосредственно на складах, оформление всех таможенных формальностей, включая декларирование груза, все виды транспортных услуг, страхование от всех рисков. ЗАРУБЕЖНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ КОМПАНИЯМ предоставляем НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ комфортабельное телефонизированное помещение под офис на территории складов.

113209, Москва, Болотниковская ул., д. 42, корп. 1.

Телефон: (007—095) 121-34-98, факс (007—095) 121-25-51.

■ СИБИРСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА — единственная специализированная фондовая биржа за Уралом. Первой в Сибири начала регулярные фондовые операции. Берет самый низкий процент с биржевых сделок. Имеет выход на Нью-Йоркскую фондовую биржу и Софийскую биржу «СТОКОВА БОРСА САТЕЛИТ».

Новосибирск: телефон (8-3832) 22-03-68, факс (8-3832) 23-99-17, телетайп 6833 Горби, телекс 133101 GORBI SU.

E-mail SIBEX @ SINTEL. NSK. SU.

■ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММ ПЕРЕХОДА ПРЕДПРИЯТИЙ К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ (экономическое, финансовое, правовое обеспечение) ждут премии в 5, 3, 1,5 тыс. руб., учрежденные ассоциацией «Сибирское соглашение», Советом по экономической реформе Новосибирского облсовета, предприятием «ЭКОД». Мы принимаем на конкурс работы прикладного характера объемом до 150 м/страниц. Авторское право гарантируется. С 1 октября до 31 декабря 1991 года высылайте свои разработки в *Новосибирск, 630050, а/я 14. Телефон: 23-87-51.*

■РУССКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК принимает от населения срочные вклады от 10 000 рублей и выше на самых выгодных условиях. Процентные ставки по вкладам: от 1 до 3 лет — 5% годовых; от 3 до 5 лет — 10%; свыше 5 лет — 12%. *Справки по телефону: (095) 283-56-89.*

■ ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ государственных и арендных предприятий! «Брокеры Тринити» помогут вам приобрести и реализовать товары, недвижимость и ценные бумаги на крупнейших биржах страны.

Телефон: (095) 207-08-20, факс (095) 207-08-44.

■ ПРЕДЛАГАЕМ В ЛЮБОМ ГОРОДЕ обмен, аренду, сдачу, увеличение, уменьшение, куплю-продажу жилплощади и любого другого движимого и недвижимого имущества, приглашаем брокеров, дилеров, инвесторов.

103031, Москва, а/я 814. Телефоны: (095) 292-70-00, 203-89-31.

■ НПО «Вектор СП» предлагает предприятиям и организациям вычислительную технику, ксероксы, аппараты факсимильной связи, а также периферийные устройства к средствам вычислительной техники, лазерные плоттеры, сканнеры, стриммеры и др. Оплата в рублях.

Обращаться по телефону: 415-77-25 (Москва) в отдел вычислительной техники.

■ ВНИМАНИЕ! ФИРМА «НОРД-Пилигрим» совместно с гостиницей «Центральный дом охотника и рыболова» предлагает иностранным туристам, представителям фирм размещение в гостинице, также предоставляет автотранспорт. Оплата в рублях.

Справки по телефону: 459-09-60 (475-46-58).

■ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Сов-Пак-Сервис» продает восстановленное фасовочно-упаковочное оборудование, восстанавливает импортное оборудование для производства фармацевтики, косметики, медицинских изделий, продуктов питания и переработки сельхозпродукции. Оплата в рублях и СКВ.

Москва: 316-14-11, факс 316-08-88. Мариуполь: 33-61-24.

■ БРОКЕРСКАЯ ФИРМА «ДИНАТИП» Российской товарно-сырьевой биржи предлагает все виды брокерских услуг, а также выполняет экспертизу товаров с участием ВО «Союзэкспертиза» ТПП СССР.

Телефоны: (095) 158-51-11, факс (095) 158-01-85.

■ АССОЦИАЦИЯ «ЗЕНИТ-ИНТЕР» реализует оптовые партии импортных кнопочных телефонов с московского склада. Минимальная партия 5000 шт. Оплата в рублях. Предоставляется гарантия.

Телефон: (095) 237-11-45. Москва, 113162, ул. Городская, 2/7.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Аленький цветочек» предлагает новейшую импортную видео-, аудио- и оргтехнику; аудио-, видеокассеты. ВСЕ — ИМПОРТНЫЕ, И ВСЕ — ЗА РУБЛИ!

Наш адрес: Москва, ВДНХ СССР, павильон «Электрификация СССР».

Телефоны для справок: 150-55-77, 181-98-08.

■ БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ В МОСКВЕ: на Российской товарно-сырьевой и Московской товарной биржах. Поиск поставщиков сырья, материалов, машин, оборудования. Изучение рынка сбыта вашей продукции и ее быстрая реализация. Поиск советских и зарубежных партнеров для создания совместных производств. Текущая биржевая информация.

111116, Москва, Энергетическая ул., 9, к. 29, ИНЭК.

Факс (095) 362-52-51, 134-26-34, телефон: (095) 241-46-60

Брокерские конторы: ИНЭК (РТСБ) — (095) 362-52-51, ИНЭК-2 (МТБ) — (095) 479-65-90.

■НТК «АНАЛИТИК» предлагает СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ между персональными компьютерами по телефонным каналам (МОДЕМЫ CONTACT MT-2400). Скорость до 2400 бит/с, возможность пробной установки, самые низкие цены.

143000, Одинцово-6 Московской обл., а/я 4-ст.

Телефон: (095) 391-98-84.

■ УЧРЕЖДЕНЧЕСКУЮ ТЕЛЕФОННУЮ СТАНЦИЮ ТРЕБУЕМОЙ КОНФИГУРАЦИИ, видеодомофон и другие виды современной техники поставит вам английская фирма RULAND Ltd. — ваш надежный партнер.

Представительство фирмы в Москве: 127238, Дмитровское ш., 34, к. 1.

Телефон: 488-61-21, факс: 489-30-30.

■АВИАТРАНСПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ предлагает услуги по перевозке грузов и сопровождающих груз лиц по территории СССР на самолетах ЯК-40, АН-26, АН-12, ТУ-134, ИЛ-18, ИЛ-76.

Телефоны в Москве: 556-54-83, 556-54-84, 452-80-23, 178-75-89, 558-41-20.

■ ИНИЦИАТИВНЫЕ И ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ! Есть сложная работа на домашнем телефоне. Приглашаются москвичи.

Телефоны: 330-80-05, 356-93-52, 356-54-12 с 10 до 16 часов, кроме выходных дней.

1 руб. Индекс 70663